

ГЛАВА III. Утопия правил, или Почему мы любим бюрократию, несмотря ни на что

На бюрократию жалуются все. Очерки, представленные в этой книге, по большей части выросли из таких жалоб. Кажется, что бюрократию никто особенно не любит – и тем не менее ее становится все больше и больше.

В этом эссе я бы хотел задаться вопросом о том, почему это так, и рассмотреть гипотезу о том, что огульное осуждение бюрократии, которое приходится слышать, зачастую не очень искренне и что опыт пребывания в рамках системы формализованных правил и норм, иерархии безличных чиновников (у многих из нас он поглощает большую часть времени, у всех нас хотя бы какую-то его часть) обладает определенной скрытой притягательностью.

Я, конечно, понимаю, что мое объяснение – не единственное возможное. Есть целая школа мысли, утверждающая, что бюрократия расширяется в соответствии с извращенной, но неумолимой внутренней логикой. Далее следует такой довод: если вы создаете бюрократическую структуру для решения какой-то проблемы, эта структура неизбежно породит другие трудности, которые, как кажется, можно преодолеть только при помощи бюрократических средств. В университетах это иногда неформально называют «проблемой создания комитетов для решения проблемы слишком большого количества комитетов».

Несколько иная версия этого довода – и в ней заключается суть рассуждений Макса Вебера на эту тему – гласит, что бюрократия, однажды появившись, немедленно становится необходимой для всякого, кто желает власти, вне зависимости от того, что он собирается при помощи этой власти делать. Главное средство добиться этого всегда заключается в попытке монополизации доступа к некоторым ключевым видам информации. Здесь стоит привести пространную цитату из Вебера:

“ Всякая бюрократия стремится укрепить превосходство профессионально осведомленных людей путем засекречивания их знаний и намерений. Бюрократическая администрация всегда является администрацией

«закрытых заседаний»: она скрывает свои знания и действия от власти, насколько ей это удастся...

Концепция «государственной тайны» – это специфическое изобретение бюрократии; бюрократия ничто не охраняет столь же фанатично, как этот подход, который невозможно оправдать за рамками специализированных областей. Сталкиваясь с парламентом, бюрократия, исходя из своего властного инстинкта, борется с любой попыткой парламента получить знания посредством своих собственных экспертов или при помощи заинтересованных групп...

Абсолютный монарх бессилён перед лицом высшего знания бюрократического эксперта – в определенном смысле он ещё бессильнее, чем любой другой политический деятель. Все пренебрежительные указы Фридриха Великого об «Отмене крепостного права» сводились на нет в ходе их реализации, потому что официальный механизм просто игнорировал их, считая их случайными мыслями дилетанта. Когда конституционный король соглашается с социально значимой частью подданных, он нередко оказывает большее влияние на работу администрации, чем «абсолютный монарх». Конституционный король может контролировать этих экспертов лучше благодаря общественному – по крайней мере, относительно общественному – характеру критики, тогда как абсолютный монарх в вопросах информации зависит исключительно от бюрократии. Русский старорежимный царь редко когда мог на протяжении длительного времени делать что-либо, что не нравилось его бюрократии или противоречило ее властным интересам¹¹⁶.

Одним из побочных следствий этого, как замечает сам Вебер, является то, что, создав однажды бюрократию, вы практически не можете от нее избавиться. Самые первые известные нам бюрократии, сложившиеся в Месопотамии и Египте, существовали в почти неизменном виде на протяжении тысячелетий, пока одна династия или правящая элита сменяла другую. Точно так же волны успешных завоевателей оказались неспособны вытеснить китайскую гражданскую администрацию с ее ведомствами, отчетами и экзаменационной системой, которая твердо стояла на ногах вне зависимости от того, кто называл себя избранником небес. Действительно, как отмечал Вебер, по вполне очевидным причинам навыки и знания, столь ревниво охранявшиеся китайскими бюрократами, иностранным завоевателям были нужны даже еще больше, чем местным правителям. По Веберу, единственный способ покончить с бюрократами – это просто перебить их, как сделал готский король Аларих в императорском Риме или Чингисхан в некоторых странах Ближнего Востока. Оставьте в живых сколько-нибудь значимое количество чиновников, и всего через несколько лет они неизбежно будут управлять вашим царством.

Второе возможное объяснение состоит в том, что бюрократия не только становится незаменимой для правителей, но выглядит действительно привлекательной в глазах тех, кем она управляет. Здесь не обязательно соглашаться с забавным славословием Вебера на тему эффективности бюрократии. Самое простое объяснение притягательности

бюрократических процедур заключается в их безличности. Холодные, отстраненные бюрократические отношения похожи на сделки с наличностью – и те, и другие обладают схожими достоинствами и недостатками. С одной стороны, они бездушны. С другой стороны, они просты, предсказуемы и – по крайней мере, в рамках определенных параметров – относятся ко всем более или менее одинаково. Да и кто искренне хочет жить в мире, где у всего есть душа? Бюрократия хотя бы дает возможность обращаться с другими людьми таким образом, что ни одной из сторон не приходится выполнять все виды сложной и утомительной интерпретативной работы, описанной в первом очерке этой книги: вы просто можете положить деньги на прилавок и не беспокоиться о том, что думает кассир о вашей одежде, или вытащить действующее удостоверение с фотографией без необходимости объяснять библиотекарю, почему вы так увлекаетесь гомоэротическими темами в английской поэзии XVIII века. Разумеется, в этом есть доля привлекательности. Если задуматься над этим вопросом, трудно представить, что, даже если мы построим некое утопическое общество на основе общинных принципов, нам не понадобятся некие безличные (осмелюсь сказать, бюрократические) институты – как раз по этой причине. Приведу один очевидный пример: изнывать от нетерпения, ожидая результатов безличной лотерейной системы, или ждать органа, который срочно нужен для пересадки, может быть не самым приятным занятием, но трудно придумать какой-либо более безличный способ распределения ограниченного количества сердец или почек, который был бы лучше.

Это, как я сказал, самое простое объяснение. Но в этом очерке я хочу развить гипотезу о том, что все это может зайти достаточно далеко. Дело не только в том, что безличные отношения, которые делает возможными бюрократия, удобны; на них – по крайней мере, до определенной степени – вообще основаны наши представления о рациональности справедливости и, прежде всего, свободе. Чтобы объяснить, почему, на мой взгляд, это так, я начну с анализа двух моментов в человеческой истории, когда новые бюрократические формы вызвали не просто повсеместную пассивную покорность, а живой энтузиазм и даже слепую страсть, и попытаюсь понять, что именно так сильно привлекало стольких людей.

I. Очарование разочарования, или Волшебная сила почтовой службы

Одна из причин, по которым Вебер описывал бюрократию как само воплощение рациональной эффективности, заключается в том, что в Германии той эпохи бюрократические учреждения действительно хорошо работали. Возможно, знаковым ведомством, гордостью и радостью германской администрации была почтовая служба. В конце XIX века германское почтовое ведомство считалось одним из великих чудес современного мира. Его эффективность была настолько легендарной, что она отбрасывала мрачную тень на весь XX век. Многие достижения того, что мы теперь называем «высоким модернизмом», были созданы по образцу германской почтовой службы – или были напрямую с нее скопированы. Но также можно было бы утверждать, что она стала еще и источником одной из самых страшных бед минувшего столетия.

Чтобы понять, как это произошло, мы должны разобраться в подлинных истоках современного социального государства, которое, как мы часто думаем (когда вообще о нем думаем), было создано благонамеренными демократическими элитами. Нет ничего более далекого от истины. В Европе большинство ключевых институтов того, что позднее стали называть социальным государством – всё, начиная от социального страхования и пенсий и заканчивая государственными библиотеками и поликлиниками, – было создано вовсе не правительствами, а профсоюзами, ассоциациями соседей, кооперативами, рабочими партиями и другими организациями. Многие из них участвовали в осознанном революционном проекте «построения нового общества внутри старого» или постепенного создания социалистических институтов снизу. В одних случаях это сочеталось с целью последующего захвата власти парламентскими методами, в других это было сутью проекта. Стоит помнить, что в конце XIX века даже прямые преемники Коммунистической партии Маркса отказались от мысли о силовом захвате власти, поскольку это уже не казалось необходимым; они полагали, что в Европе, где царил мир, а технологический прогресс развивался быстрыми темпами, социальную революцию можно провести ненасильственными, электоральными методами.

Германия была одной из тех стран, где подобные партии добились наибольшего успеха. Даже несмотря на то, что канцлер Отто фон Бисмарк, великий создатель и организатор германского государства, наделил парламент лишь ограниченной властью, он был обескуражен быстрым подъемом рабочих партий и опасался социалистического большинства или вероятного восстания в стиле Парижской коммуны во вновь объединенной Германии. На успех социалистов на выборах 1878 года он отреагировал двояко: сначала запретил социалистическую партию, профсоюзы и левые газеты, а когда эти меры оказались неэффективными (социалисты продолжили побеждать, выступая как независимые кандидаты), он создал иерархическую альтернативу бесплатным школам, ассоциациям рабочих, обществам взаимопомощи, библиотекам, театрам и всему процессу построения социализма снизу. Это обрело форму программы социального страхования (по безработице, здоровью, инвалидности), бесплатного образования, пенсий и так далее – по большей части это были выхолощенные варианты тех мер, которые являлись частью социалистической программы, но из которых тщательно устранялись все демократические, партисипативные элементы. В узком кругу он весьма откровенно характеризовал эти меры как «мзду», как попытку купить рабочий класс и перетянуть его на сторону консервативного националистического проекта¹¹⁷. Когда позднее к власти пришли левые режимы, у них уже был образец, и почти все они переняли тот же иерархический подход, включив созданные на местном уровне поликлиники, библиотеки, общества взаимного кредита и рабочие образовательные центры в административную структуру государства.

В Германии реальной моделью этой новой административной структуры, как ни странно, стало почтовое ведомство – хотя, если разобраться в истории почтовой службы, все выглядит логично. По сути, почтовое ведомство было первой попыткой применения иерархических, военных форм организации для общественных нужд. Исторически почтовая служба впервые появилась как инструмент организации армий и империй. Изначально она использовалась для передачи полевых донесений и приказов на дальние расстояния; позднее она стала средством сохранения новообразованных империй. Вот почему над входом в здание Центрального почтамта в Нью-Йорке, напротив Пенсильванского вокзала,

до сих пор красуется знаменитая цитата о персидских царских вестниках и расположенных через равные расстояния почтовых станциях со свежими лошадьми – по словам Геродота, эта система обеспечивала самое быстрое передвижение на Земле: «Ни снег, ни ливень, ни зной, ни даже ночная пора не могут помешать каждому всаднику проскакать во весь опор назначенный отрезок пути»¹¹⁸. В Римской империи существовала похожая система, и почти все армии пользовались услугами почтовых курьеров до тех пор, пока в 1805 году Наполеон не внедрил флажный семафор.

Одной из важнейших управленческих инноваций XVIII и особенно XIX века стало превращение системы военных курьеров в основу новой гражданской администрации, главной задачей которой было предоставление услуг общественности. Появившись изначально в сфере коммерции, она стала распространяться, когда коммерсанты начали использовать почту для личной или политической переписки – в конце концов, ее стали применять практически все¹¹⁹. Очень скоро во многих новых национальных государствах Европы и обеих Америк 50 % бюджета стала тратиться на почтовую службу, в которой было занято более половины гражданских служащих¹²⁰.

Можно даже утверждать, что национальное государство в Германии было создано прежде всего благодаря почтовому ведомству. В Священной Римской империи право управлять почтовой курьерской системой на имперских землях, было пожаловано в лучших феодальных традициях знатному семейству, происходившему из Милана и позже получившему известность как бароны фон Турн-и-Таксис (по легенде, один из отпрысков этого семейства изобрел таксометр, что и дало название автомобилям такси). Прусская империя выкупила монополию Турн-и-Таксис в 1867 году и использовала ее как основу для новой германской национальной почты – в последующие два десятилетия верным знаком того, что очередное карликовое государство или княжество поглощалось новым национальным государством, было его присоединение к германской почтовой системе. Отчасти по этой причине ее блистательная эффективность стала поводом для национальной гордости. И действительно, в конце XIX века германская почта производила сильное впечатление – в крупных городах она могла предложить пять и даже девять различающихся по скорости видов доставки в сутки, а в столице располагала разветвленной сетью пневматических труб, предназначенных для практически мгновенной передачи писем и небольших бандеролей на дальние расстояния при помощи системы сжатого воздуха (рис. 6, 7).

Марк Твен, проживший недолгое время в Берлине в 1891–1892 годах, был так впечатлен этой системой, что выразил восхищение ее невиданной эффективностью в одном из своих немногих несатирических очерков под названием «Почтовая служба»¹²¹. И он был далеко не единственным иностранцем, восторгавшимся ее устройством. Всего за несколько месяцев до начала Русской революции Владимир Ильич Ленин писал:

“Один остроумный немецкий социал-демократ семидесятых годов прошлого века назвал почту образцом социалистического хозяйства. Это очень верно. Теперь почта есть хозяйство, организованное по типу государственно-

капиталистической монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного типа...

Все народное хозяйство, организованное как почта, с тем, чтобы техники, надсмотрщики, бухгалтеры, как и все должностные лица, получали жалованье не выше «зарплатной платы рабочего», под контролем и руководством вооруженного пролетариата – вот наша ближайшая цель¹²².

Так и вышло. Устройство Советского Союза было напрямую скопировано с германской почтовой службы.

Рис. 6. Карта берлинской системы пневматических труб, 1873

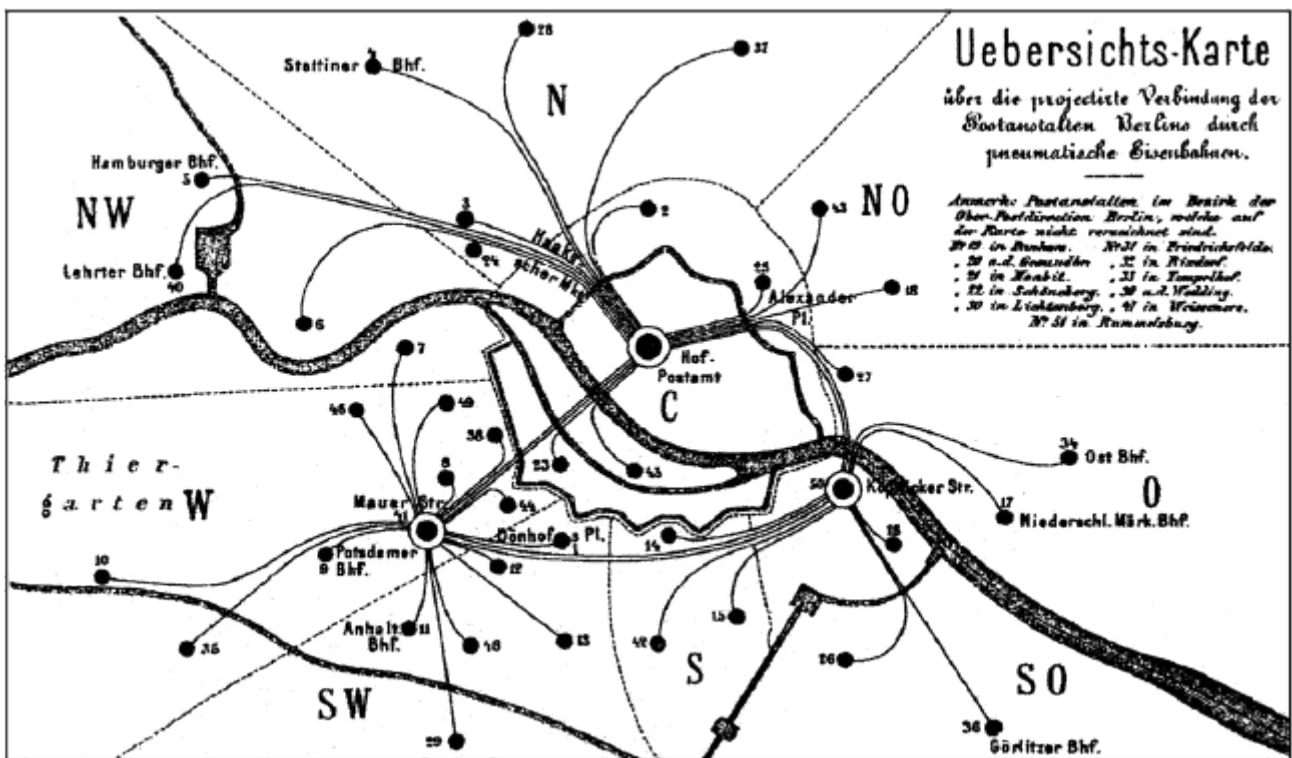


Рисунок 7.

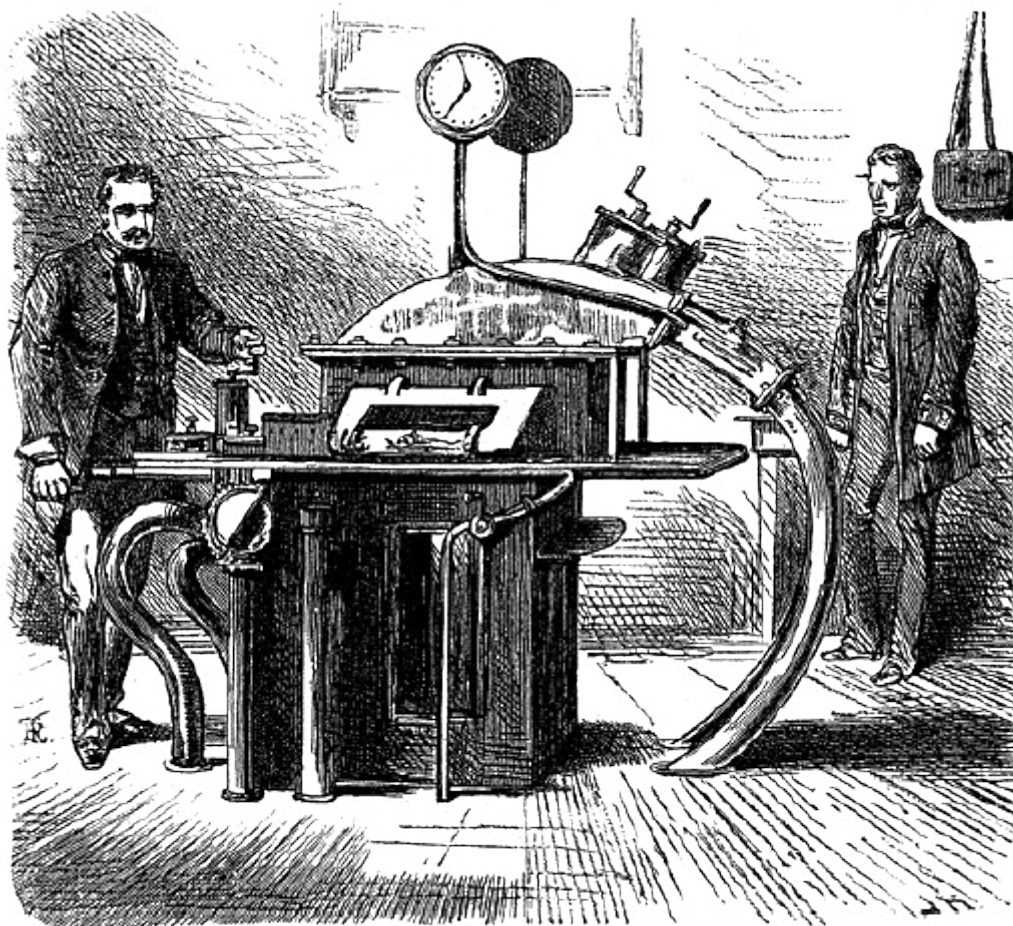


Fig. 613. Rohrpostamt.

Впрочем, впечатление она производила не только на социалистов-государственников. Даже анархисты примкнули к хору ее хвалителей; хотя их интересовали скорее не страны, а отношения между ними, а именно тот факт, что можно отправить письмо из Венесуэлы в Китай, несмотря на отсутствие единого всеохватывающего государства. Так, Петр Кропоткин часто называл международный Всемирный почтовый союз, созданный в 1874 году (наряду с соглашениями между железнодорожными компаниями), моделью для анархизма, подчеркивая, что это уже происходит на вершине имперских систем:

“ В настоящее время, когда какие-нибудь группы, рассеянные в различных концах земного шара, хотят организовать с какою-нибудь целью, они уже не выбирают интернациональный парламент из «пригодных на всякое дело депутатов» и не говорят им: «Дайте нам закон и мы будем вам повиноваться». Если нет возможности сговориться прямо или при помощи переписки, они посылают на конгресс людей, специально изучивших данный вопрос, и говорят им: «Постарайтесь сговориться относительно того-то и того-то и возвращайтесь к нам – не с готовыми законами в кармане, они нам не нужны, а с проектом соглашения, которое мы можем принять, но можем и не принять»¹²³.

Эти мечты о будущем рае, который вырастет из почтовой службы, не ограничивались лишь Европой. Соединенные Штаты, страна, которая вскоре стала главным соперником Германии

в борьбе за влияние в мире, также считались моделью цивилизации нового типа, и эффективность их почтовой службы служила очевидным тому подтверждением. Еще в 1830-е годы Токвиль был потрясен масштабами почтовой системы и огромным потоком писем, который шел даже на Дикий Запад. Во время путешествия через Кентукки в Мичиган он отмечал: «Среди этих диких лесов обращается удивительное количество писем и газет», намного большее, по его расчетам, чем даже в самых густонаселенных и экономически активных провинциях Франции. По словам одного современного историка американской республики:

“ Американцы вскоре придали своей почтовой системе более серьезные масштабы, чем британцы или французы. К 1816 году почтовая система насчитывала свыше тридцати трех сотен отделений, в ней было занято около 70 % всех федеральных гражданских служащих. Объем почты рос так же быстро. В 1790 году почтовая система доставила лишь триста тысяч писем, по одному на каждые пятнадцать жителей страны. К 1815 году она доставляла около семи с половиной миллионов писем в год, то есть по одному на каждого жителя...

И, в отличие от Великобритании и других европейских стран, письма доставлялись без правительственного надзора или контроля¹²⁴.

На протяжении большей части столетия федеральное правительство с точки зрения подавляющего числа американцев представляло собой почтовую службу. К 1831 году по количеству занятых в ней лиц она намного превосходила все остальные правительственные ведомства, вместе взятые, и заметно опережала армию; для большинства жителей маленьких городов почтовые служащие были единственными федеральными чиновниками, которых они вообще могли когда-либо встретить.

В те времена европейцы смотрели на США как на своего рода утопический эксперимент: здесь отвергались либеральные принципы в экономике, зато получили широкое распространение кооперативы, финансируемые правительством проекты и протекционные тарифы. Лишь со становлением корпоративного капитализма после Гражданской войны Соединенные Штаты приблизились к германской модели бюрократического капитализма. Когда это произошло, популисты и особенно прогрессисты стали считать модель почтовой службы наиболее подходящей альтернативой. И вновь казалось, что формы нового, более свободного и рационального общества возникают в рамках структур угнетения. В Соединенных Штатах использовался термин «почтализация» (postalization) – уникальный американский неологизм (который, что показательно, впоследствии полностью исчез из языка), придуманный для обозначения национализации. И все же ровно в то же время, когда Вебер и Ленин называли германскую почтовую службу моделью будущего, американские прогрессисты утверждали, что даже частный бизнес был бы эффективнее, если бы им управляли так же, как почтой, и перечисляли важнейшие победы почтализации, например, национализацию некогда частного метро и пригородных и межштатных железных дорог, которые в крупнейших американских городах так и остались в руках государства.

В ретроспективе все эти фантазии о почтовой утопии выглядят в лучшем случае забавными. Сегодня мы ассоциируем национальные почтовые системы с доставкой вещей, которые мы не очень-то хотим получать: счета за коммунальные услуги, предупреждения о перерасходе средств, каталоги посылочной торговли, извещения, розыгрыши, повестки в суд присяжных, налоговые проверки, «уникальные» предложения получить кредитную карту и призывы жертвовать деньги на благотворительность. Хотя изначально образ почтовых работников в глазах американцев был довольно популярным, со временем он становился все более отталкивающим. Но это происходило не само собой, а стало результатом преднамеренного выбора. Начиная с 1980-х годов, законодатели систематически урезали финансирование почтовой службы и поощряли частные инициативы в рамках кампании по убеждению американцев в том, что правительство на самом деле не работает¹²⁵. В результате почтовая служба очень скоро превратилась в символ всего самого отрицательного, что есть в государственной бюрократии: в газетах печатались бесконечные истории о забастовках, о сотрудниках-наркоманах, о складах, забитых до отказа неотправленными письмами, и, разумеется, о работниках, которые время от времени сходили с ума (going postal) и открывали огонь по менеджерам, коллегам, полицейским или случайным прохожим. В современной литературе термин «почтализация» мне удалось обнаружить только в одной работе о насилии на рабочем месте под названием «Безумие корпоративной Америки», где описывается, как эпидемия нападений на начальников и коллег перекинулась из государственного сектора на частные корпорации.

В блестящей книге «Немотивированное насилие: ярость, убийства и бунт – от рейгановских рабочих мест до клинтоновской Колумбины и далее» Марк Эймс старательно собрал журналистские рассказы об этих событиях (агрессия зародилась в отделениях почтовой службы и распространилась в частных офисах и фабриках – и даже в негосударственных почтовых компаниях вроде UPS – и стала настолько обычным явлением, что многие из происшествий даже не упоминались в национальных новостях). По его замечанию, описания этих инцидентов, всегда представляющие их как проявления необъяснимого индивидуального гнева и безумия, но не содержащие и намека на систематическое унижение, которому подвергаются работники, удивительно похожи на очерки о восстаниях рабов в прессе XIX века¹²⁶. Эймс пишет, что в американской истории было на редкость мало организованных бунтов рабов. Но было достаточно прецедентов, когда отдельные рабы или небольшие группы нападали на надсмотрщиков, хозяев и членов их семей с топорами, ножами, ядом или любыми другими средствами, оказывавшимися у них под рукой. В обоих случаях журналисты описывали такие вспышки насилия как результат либо личного безумия, либо необъяснимого злого умысла. Действительно, сама попытка предложить структурное объяснение – то есть рассказать об ужасе рабства или обратить внимание на то, что до реформ 1980-х годов в корпоративной структуре, которые уничтожили прежние гарантии пожизненной занятости и защиты работников от произвольного и унижительного обращения со стороны начальства, во всей американской истории не было ни одного случая массового убийства на рабочем месте (если не считать рабов), – казалась безнравственной, поскольку подразумевала, что подобное насилие было до определенной степени оправданно.

Нельзя также отрицать, что в этой риторике была существенная расистская составляющая. Если на протяжении большей части XX века в глазах афроамериканских рабочих почтовая

служба была символом не только стабильного и надежного, но еще и уважаемого труда на благо общества¹²⁷, то после Рейгана ее стали представлять как воплощение деградации, насилия, злоупотребления наркотиками и неэффективности социального государства, рассматриваемого в расистских категориях (это отождествление афроамериканцев как с высокомерной бюрократией, так и с пугающим случайным насилием вновь и вновь проявляется в американской популярной культуре, хотя и редко в обоих случаях одновременно. Одной из повторяющихся деталей боевиков является то, что вечно взбешенный и престаупающий все правила начальник эксцентричного героя почти всегда – черный)¹²⁸.

В то самое время, когда была развязана война против почтовой службы и в народном восприятии она стала ассоциироваться с безумием, деградацией и насилием, происходило нечто похожее на восхищение почтовой службой рубежа веков. Резюмируем эту историю следующим образом:

- “ 1. На основе военных разработок развиваются новые коммуникационные технологии.
2. Они быстро распространяются, радикально меняя повседневную жизнь.
3. За ними закрепляется репутация фантастической эффективности.
4. Поскольку они действуют на основе нерыночных принципов, очень скоро радикалы начинают говорить о них как о первых проявлениях будущей некапиталистической экономической системы, развивающейся внутри старой.
5. Несмотря на это, они быстро превращаются в средство правительственного контроля и распространения бесконечных новых форм рекламы и ненужной бумажной работы.

Если эту историю выразить в такой форме, то станет очевидно, что я имею в виду. Речь идет об истории интернета. В конце концов, что такое электронная почта, если не гигантская, охватывающая весь мир, суперэффективная почтовая служба? Разве она не создала ощущение, будто в недрах самого капитализма появилась новая, чрезвычайно эффективная форма кооперативной экономики – даже несмотря на то, что она завалила нас спамом и рекламными предложениями, привлекла мошенников и наделила власти новыми, творческими формами слежения за нами?

Разумеется, различия есть. Прежде всего, интернет создает более партисипативные, демократические формы сотрудничества. Это важно. Но здесь меня интересует не столько историческое значение этого феномена, сколько следующий вопрос: что это говорит нам о

привлекательности самой бюрократии?

Ну, наверное, в первую очередь важно, что, хотя и почтовая служба, и интернет являются военными разработками, их можно рассматривать как применение военных технологий в исключительно мирных целях. Как я говорил, организованное насилие как форма коммуникации радикально упрощает, демонтирует и в конечном итоге предотвращает коммуникацию; организованное насилие как форма действия является формой антидействия, поскольку его конечная цель заключается в том, чтобы не позволить другим действовать (либо действовать определенным образом, либо, если этих других убивают, вообще действовать как-либо). Тем не менее тут перед нами открывается возможность превратить эти упрощенные, минималистические формы действия и коммуникации, характерные для военных систем – будь то иерархические цепочки или бинарные коды, – в невидимую основу, на которой можно создавать все то, чем они не являются: мечты, проекты, объяснения в любви и страсти, художественное вдохновение, бунтарские манифесты и все что угодно. Они дают возможность творить и поддерживать социальные отношения, которые не могли бы существовать в ином виде. Но все это также подразумевает, что бюрократия начинает привлекать нас, то есть казаться освободительницей, именно тогда, когда исчезает: когда она становится настолько рациональной и надежной, что мы можем просто считать само собой разумеющимся, что мы способны засыпать на кровати из цифр и просыпаться в уютном окружении все тех же цифр.

В этом смысле бюрократия зачаровывает тогда, когда ее допустимо рассматривать как разновидность того, что я назвал поэтическими технологиями, то есть как технологию, благодаря которой механические формы организации носящей, как правило, военный характер, могут использоваться для воплощения невозможных замыслов: для создания городов на пустом месте, полетов к небесам и превращения пустынь в цветущие сады. На протяжении большей части человеческой истории такого рода власть была доступна лишь правителям империй или командующим победоносными армиями, поэтому здесь мы даже можем говорить о демократизации деспотизма. Некогда привилегия взмахнуть рукой и увидеть, как огромная невидимая армия шестеренок и колес выстраивается, чтобы воплотить ваши прихоти в жизнь, была доступна только немногим, самым привилегированным особам; в современном мире ее можно разделить на миллионы маленьких порций и сделать доступной всякому, кто способен написать письмо или щелкнуть выключателем¹²⁹.

Все это подразумевает очень специфическое понимание свободы. Более того, на мой взгляд, это обозначает отказ от прежних форм понимания рациональности – и значение данного отказа трудно переоценить.

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.

Западные интеллектуальные традиции всегда склонялись к мысли о том, что способности человеческого разума представляют собой прежде всего способы подавления наших низменных инстинктов. Этот довод можно найти уже у Платона и Аристотеля; он значительно укрепился, когда в христианстве и в исламе были разработаны классические теории о душе. Действительно, гласил довод, у всех нас есть животные побуждения и

страсти, равно как и творческие способности, и воображение, однако эти порывы носят хаотичный и антиобщественный характер. Разум – будь то в индивидуальном или в политическом сообществе – существует для удержания в узде нашей изменчивой природы, для сдерживания и подавления потенциально разрушительной энергии, направляя ее в такое русло, чтобы она не вела к хаосу и ко взаимному уничтожению. Это нравственная сила. Вот почему, например, в английском языке от слова «полис», означающего политическое сообщество и место рационального порядка, происходят такие понятия, как politeness («вежливость») и police («полиция»). В итоге эта традиция всегда неявно подразумевает, что в наших творческих способностях должно быть что-то демоническое.

Становление бюрократического популизма, которое я описываю, соответствует полному пересмотру этой концепции рациональности и переходу к новому идеалу, выраженному Дэвидом Юмом следующим образом: «Разум является и должен являться только рабом страстей»¹³⁰. С этой точки зрения рациональность не имеет ничего общего с нравственностью. Это чисто технический аспект – инструмент, машина, способ рассчитать самый эффективный путь для достижения целей, которые невозможно оценить в рациональных категориях. Разум не может сказать нам, чего мы должны хотеть. Он может лишь сообщить нам, как этого проще всего добиться.

В обоих вариантах разум был чем-то не связанным с творчеством, желаниями или страстями; тем не менее в одном он ограничивал эти страсти, в другом – потворствовал им.

Наиболее полное развитие эта логика получила в рамках новой науки – экономики, но ее истоки восходят к бюрократии в не меньшей степени, чем к рынку (стоит помнить, что экономисты работают и всегда работали на крупные бюрократические организации того или иного рода). Сама мысль, что можно четко разграничить средства и цели, факты и ценности, является продуктом бюрократического мышления, потому что бюрократия – это первый и единственный социальный институт, который рассматривает средства для совершения чего-либо отдельно от того, что, собственно, совершается¹³¹. Так, бюрократия действительно была неотъемлемой частью системы ценностей значительной доли населения мира на протяжении довольно длительного периода времени.

Вместе с тем старое представление о рациональности исчезло далеко не полностью. Напротив, хотя оба представления противоречат друг другу, они сосуществуют – и постоянно сталкиваются. В результате само наше понимание рациональности на удивление непоследовательно. Совершенно неясно, что это слово означает. Иногда это средство, иногда – цель. Порой оно никак не связано с нравственностью, порой оно выражает самую суть того, что правильно и хорошо. Временами это метод решения проблем, временами это и есть решение всех возможных проблем.

II. Рационализм как форма духовности

Над этим странным положением дел стоит поразмышлять, потому что оно лежит в самом сердце нашего представления о бюрократии. С одной стороны, мы полагаем, что бюрократические системы являются лишь нейтральными социальными технологиями. Это

просто способы добраться из пункта А в пункт Б, и с вопросами добра и зла они никак не связаны. Я хорошо помню, с каким восхищением и почти что ошеломлением один мой друг, учившийся в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете, всемирно известной кузнице руководителей высшего звена, рассказывал мне, что ему пришлось записаться на курс по «этике, свободной от оценочных суждений». На первый взгляд это звучит абсурдно. Но на самом деле такое представление неизбежно проистекает из следующего понимания роли бюрократов: они являются государственными служащими, а служащие должны выполнять поручения начальников вне зависимости от того, что от них требуется. Однако, поскольку их начальником является некто под названием «общественность», возникают определенные проблемы: как понять, что именно общественность хочет, чтобы они делали. Этому и обучали начинающих чиновников на курсе по «этике, свободной от оценочных суждений»: например, если речь идет о проектировщиках сетей автомобильных дорог, как применять количественные методы при определении относительного значения своевременного прибытия на работу и исключения смерти или увечья в автомобильном происшествии (на экономическом жаргоне это называется определением значения «выявленных предпочтений» в данном вопросе) и затем установить соответствующее ограничение скорости.

С другой стороны, в полном противоречии со всем этим продолжает существовать современное воплощение более раннего представления о рациональности как о нравственном порядке, а значит, и как о самодостаточной цели. Почти все приверженцы утопических представлений, будь то социалисты, сторонники свободного рынка или даже религиозные фундаменталисты, мечтают создать такой социальный порядок, который, в отличие от нынешнего устройства, станет последовательным и осмысленным – и потому будет представлять собой торжество разума над хаосом¹³². Стоит ли говорить о том, что создание эффективной бюрократии всегда оказывается краеугольным камнем любого подобного проекта.

Аргументы о роли «рациональности» в политике почти всегда искажают эти два противоречивых представления.

Если пытаться докопаться до базовых определений, то это ничего особенного не даст. Во многих отношениях станет только хуже. Среди философов нет согласия даже относительно того, что, собственно, значит слово «рациональность». Согласно одной традиции, например, рациональность – это применение логики, чистого мышления, не замутненного эмоциями; это чистое, объективное мышление считается основой научных исследований. Такое представление стало довольно популярным, но есть одна фундаментальная проблема: сами научные исследования показали, что оно, возможно, неверно. Когнитивные психологи много раз доказывали, что не существует чистого мышления, свободного от эмоций; человек без эмоций вообще не был бы способен думать¹³³.

Другие предпочитают более прагматический подход, просто утверждая, что рациональным можно считать такой довод, который основывается на эмпирической реальности и в то же время логически последователен по форме. Проблема здесь в том, что эти два критерия слабо связаны друг с другом. Один имеет отношение к наблюдению, другой – к умозаключениям¹³⁴. Что у них общего? Похоже, прежде всего то, что, когда кто-то

приводит какой-нибудь неадекватный или бессвязный довод, мы, скорее всего, сочтем, что у этого человека не все в порядке с головой. С одной стороны, это вполне честно: мы говорим о сумасшедших людях, что они «нерациональные». Но если это так, назвать кого-либо или какой-либо довод «рациональным» не значит практически ничего. Это очень слабое утверждение. Вы просто говорите, что они, очевидно, не безумны.

Но если посмотреть на него с другой стороны, становится понятно, что утверждение о «рациональности» собственных политических воззрений – это чрезвычайно сильное утверждение. Более того, оно невероятно самонадеянно, поскольку означает, что те, кто не согласен с этими воззрениями, не просто неправы, но и безумны. Подобным же образом, сказать, что кто-то желает создать «рациональный» общественный порядок, означает, что нынешнее социальное устройство было организовано пациентами психбольницы. Конечно, каждый из нас хотя бы раз чувствовал себя безумцем. Но эта позиция в любом случае чрезвычайно нетерпима, поскольку подразумевает, что ее противники не просто ошибаются, но, в определенном отношении, даже не знают, что значит быть правым, если только каким-то чудом они не переменят мнение, не откроются свету разума и не решат принять вашу точку зрения и систему взглядов.

Превратным последствием тенденции возносить рациональность в категорию политической добродетели стало то, что она подталкивала тех, у кого вызывали отторжение такие претензии или люди, их высказывавшие, к полному отвержению рациональности и к принятию «иррационализма». Разумеется, если мы обратимся к простейшему определению рациональности, такая позиция абсурдна. Вы не можете выдвигать доводы против рациональности, поскольку, для того чтобы звучать убедительно, они должны быть выражены в рациональных категориях. Если кто-то хочет спорить с другим человеком, он должен признать, хотя бы негласно, что аргументы, основанные на адекватной оценке реальности, лучше тех, у которых такой основы нет (то есть что всякий аргумент, который выводится из допущения, что все здания сделаны из зеленого сыра, не стоит воспринимать серьезно), и что положения, следующие законам логики, лучше тех, которые их нарушают (то есть что довод о том, что, поскольку мэр Цинциннати человек, все люди – мэры Цинциннати, также можно отклонить).

Здесь было бы неуместно разбирать все логические ловушки и противоречия, что порождает эта ситуация. Я просто хочу задать вопрос, как мы вообще до этого дошли. На мой взгляд, единственное, что нам остается, – это вернуться к самому началу и обратиться к историческим истокам западного представления о «рациональности», возникшего в греческих городах на Юге Италии в середине первого тысячелетия до нашей эры.

Первой философской школой, чьи участники стали представлять себя рационалистами и считать ценностью рациональность сама по себе, было пифагорейство, являвшееся еще и своего рода политическим культом или братством, которому удалось захватить власть во многих городах Италии¹³⁵. Их великим интеллектуальным открытием стало обнаружение формального сходства между математическими соотношениями, которые можно наблюдать в геометрии, музыкальными интервалами и движениями планет. На этой основе они пришли к выводу о том, что Вселенная, по крайней мере на каком-то конечном уровне, состоит из

цифр – теперь эту мысль помнят благодаря очаровательной концепции неслышимой «музыки сфер». Согласно пифагорейцам, космос рационален, потому что в конечном счете он является выражением принципов чисел, степеней и вибраций, и, когда человеческий ум (или душа) использует силу разума, он лишь участвует в этом более широком рациональном порядке, присоединяется к космической «мировой душе», приводящей все в движение¹³⁶.

Эта картина вселенной, которую Платон отразил в «Тимее», имела огромное влияние. В первое и второе столетие существования Римской империи практически все крупнейшие философские школы переняли те или иные варианты изначального набора пифагорейских идей – не только неоплатоники, но и стоики, и даже, до некоторой степени, эпикурейцы. Более того, они создали философскую основу того, что Ханс Йонас назвал новой «космической религией» поздней Античности, в которой слились элементы греческих космологических рассуждений, вавилонской астрологии и египетской теологии, зачастую сочетавшиеся с различными течениями еврейской философии и традициями народной магии¹³⁷. Как отмечал Йонас, эта космическая религия, согласно которой Бог, Разум и Космос являются одним и тем же, а самые возвышенные дарования людей представляют собой формы участия в этом рациональном космическом порядке, была своего рода политическим отступлением, несмотря на всю ее величественность. Пифагорейцы, как и большинство греческих философов, активно участвовали в политической жизни полиса, стремясь перестроить ее на рациональных началах. В Римской империи это стало невозможным. Все политические вопросы теперь были решены. Единый, казавшийся вечным, правовой и бюрократический порядок управлял общественными делами; не надеясь изменить эту структуру, интеллектуалы все чаще обращались к откровенному мистицизму, пытаясь найти новые способы полностью выйти за пределы земных систем, подняться в различные планетарные сферы, очиститься от материальности, достичь разреженной сферы чистого разума, божественного царства трансцендентальных математических законов, управлявших временем и движением и в конечном счете делавших их призрачными. Бог не установил эти законы, а сам был этими законами. Таким образом, человеческий разум просто является действием этого божественного начала внутри нас. В этом смысле рациональность – это не просто духовное понятие, оно носит мистический характер, будучи способом соединения с божеством.

Этот набор представлений о природе рациональности, перенесенный Августином в христианство, практически полностью сформировал средневековую философию, как бы трудно ни было его примирить с понятием трансцендентного своенравного Творца (средневековая философия, по сути, занималась поиском различных путей такого примирения).

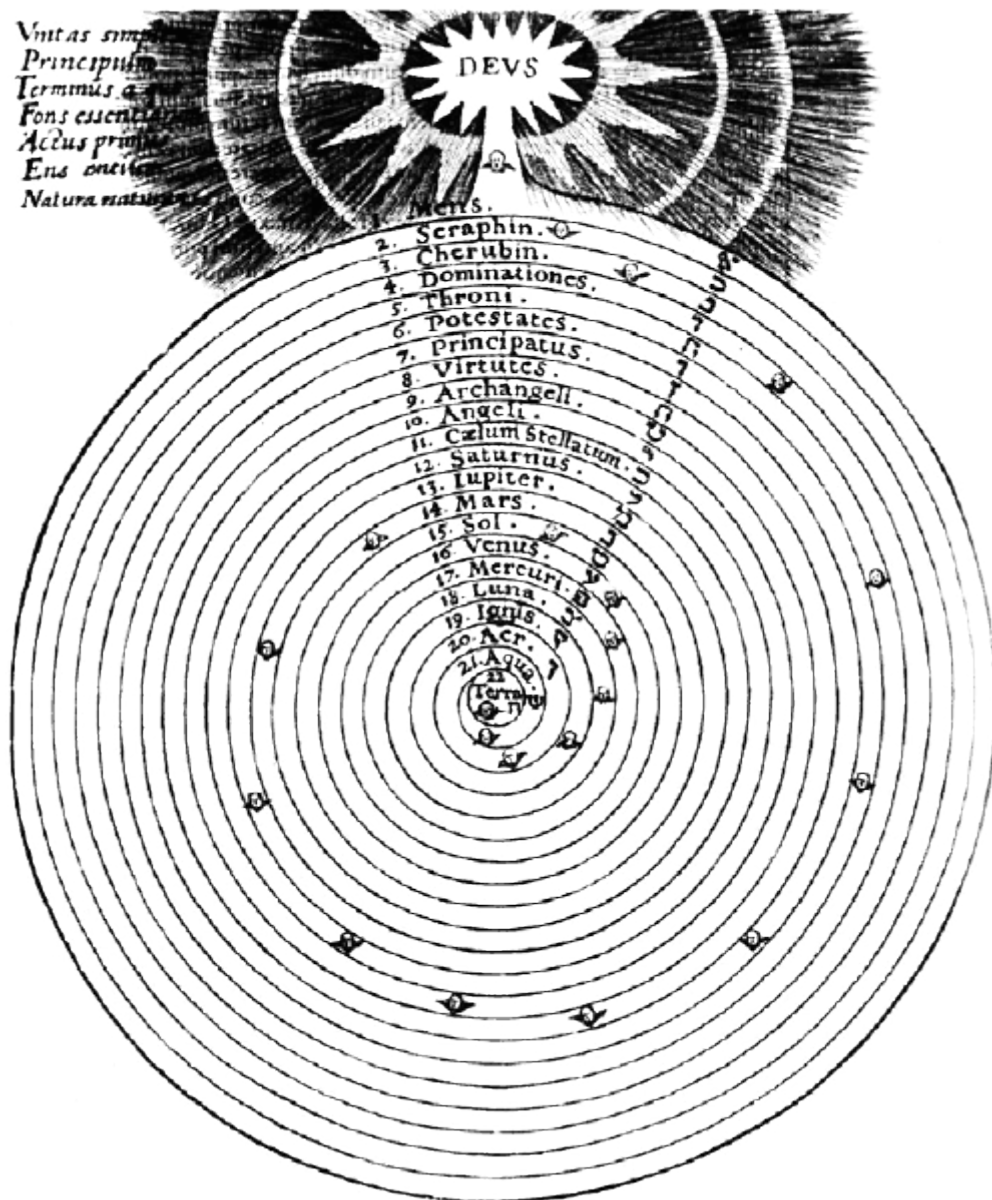
Во многих отношениях эти допущения все еще сохраняются. Взять хотя бы распространенное представление из детства, которое мы считаем самоочевидной истиной и в соответствии с которым рациональность – это то, что отличает нас от других животных (то есть мы как вид «обладаем способностью размышлять»). Это средневековая идея¹³⁸. Если задуматься, смысла в ней немного. Если «рациональность» – это просто способность так или иначе оценивать реальность и делать логические выводы, то животные в большинстве своем чрезвычайно рациональны. Они постоянно решают проблемы. Большинство из них делают это не так успешно, как люди, но фундаментального различия между ними и нами

нет. Есть много других способностей, которые были бы лучшими кандидатами – то есть те, которыми действительно обладают только люди. Очевидным выбором было бы воображение. Животные постоянно совершают рациональные, рассчитанные и целенаправленные действия, но трудно представить, что большинство из них начнет вдруг придумывать фантастические миры¹³⁹. Как однажды заметил антрополог Эдмунд Лич, человека отделяет от животных не наличие бессмертной души, а скорее способность представить, что она у него есть¹⁴⁰. Но, разумеется, если душа – это обиталище Разума, божественного начала в Человеке, то утверждать, что люди обладают бессмертной душой и что они являются рациональными созданиями, означает говорить одно и то же¹⁴¹.

Этот вывод неизбежно следовал из логики Великой цепи бытия, в рамках которой все живые существа были частью единой иерархии, где рациональность возрастала по мере приближения к Богу, а люди находились на вершине естественного порядка, между животными и ангелами.

В великих космических иерархиях поздней Античности, с их архонтами, планетами и богами, действующими в соответствии с абстрактными законами разума, легко увидеть простые образы римского юридического бюрократического порядка, выраженные в очень, очень крупных масштабах. Любопытно, что эта бюрократическая картина мироздания просуществовала целое тысячелетие после гибели Римской империи. Теологи Средневековья и Возрождения написали бесчисленное множество умозрительных трактатов об ангельских иерархиях, в которых Вселенная обретала еще более бюрократические формы, чем представляли себе античные философы¹⁴²(рис. 8).

Рисунок 8.



Например, в XVI веке Марсилио Фичино предложил следующую структуру ангельской иерархии, позаимствованную из работы христианского неоплатоника IV века, чье настоящее имя было давно забыто и чьи мысли были переработаны св. Фомой Аквинским и Данте:

“ **Серафим** размышляет о порядке и божественном провидении.

Херувим размышляет о сути и форме Бога.

Престолы тоже размышляют, хотя некоторые снисходят и до работы.

Господства, подобно архитекторам, проектируют то, что другие делают.

Власти исполняют, движут небеса и содействуют в совершении чудес как орудия Бога.

Силы наблюдают за тем, чтобы порядок божественного управления не нарушался, какие-то из них снисходят до человеческих обязанностей.

Начала занимаются общественными делами, государствами, властителями, чиновниками.

Архангелы отправляют божественный культ и присматривают за святынями.

Ангелы берут на себя небольшие дела и опекают отдельных людей в качестве их ангелов-хранителей¹⁴³.

Ангелы – это «небесные интеллекты», выстроенные по порядку от тех, кто занят чистым мышлением, до тех, кто печется о непосредственном управлении мирскими делами. Во времена, когда непосредственное управление в Европе было максимально раздробленным, европейские интеллектуалы обсуждали точное разделение властей в рамках единой, масштабной, воображаемой системы космической администрации.

В наши дни великий синтез поздней Античности, которому дали новое дыхание алхимики и чародеи Ренессанса вроде Фичино, Агриппы и Джордано Бруно (и который заодно пропитался идеями каббалы и других духовных традиций), продолжает служить основой западной церемониальной магии. Считается, что Просвещение решительно с ней порвало. Однако фундаментальная структура исходных допущений на самом деле не изменилась. Призыв Декарта и его последователей к рациональности остается прежде всего духовной и даже мистической установкой, в соответствии с которой математические и схожие с математическими абстракции, считающиеся основой мышления, также являются принципами, упорядочивающими природу, – и это остается справедливым вне зависимости от того, отождествляются ли они с Богом или рассматриваются в качестве окончательного доказательства его отсутствия.

Размышлять в этом ключе трудно, ведь мы привыкли отождествлять душу не с разумом, а со всем тем, что делает нас уникальными, неординарными и одаренными богатым воображением. Однако такое представление является продуктом романтической эпохи, которое в свое время обозначило полный разрыв с предшествующими воззрениями. Опять-таки здесь вряд ли было бы уместно детально разбирать разгоревшиеся на этой почве споры относительно взаимосвязи между разумом, воображением и желанием, однако это представление помогает нам осознать, почему понятие «рациональности» и в особенности бюрократической рациональности не способно ограничить себя простыми вопросами дедуктивного характера или даже технической эффективности и почти всегда пытается превратить себя в грандиозную космологическую схему.

III. О бюрократизации антибюрократических фантазий

Я решил, что больше не буду беспокоиться о моей [преподавательской] работе, и перестал выключать звук компьютера в рабочее время. В коридоре какой-нибудь студент мог ждать оценки своего задания, а я словно говорил ему: «Погоди, дай мне убить этого гнома, и я займусь тобой».

Мой знакомый преподаватель (имя не указано по очевидным причинам)

Тот факт, что современная наука, до определенной степени, исходит из религиозных установок, разумеется, вовсе не означает, что ее достижения ложны. Но, на мой взгляд, он показывает, что мы должны сделать шаг назад и серьезно задумываться всякий раз, когда кто-то заявляет, что пытается создать более рациональное общественное устройство (особенно когда он мог бы просто назвать это социальное устройство разумным, более достойным, менее жестоким или более справедливым).

Как мы видели, европейское Средневековье создало образ воображаемой небесной бюрократии, образцом для которой послужила бюрократия Древнего Рима¹⁴⁴, считавшаяся воплощением космической рациональности во времена, когда настоящая бюрократия практически отсутствовала. С течением лет она, конечно, заметно укрепилась. Но по мере того, как возникали бюрократические государства и бюрократическая рациональность становилась преобладающим принципом управления в XVIII и XIX веках в Европе и Америке, мы наблюдаем своего рода движение в обратном направлении: становление столь же фантастического образа Средних веков, где царили государи, рыцари, феи, драконы, колдуны и единороги, а затем и хоббиты, гномы и чудовища. В наиболее важных аспектах этот мир носит явно антибюрократический характер, то есть открыто отвергает все ключевые ценности бюрократии.

В предыдущем очерке я отмечал, что научная фантастика составила стандартный перечень изобретений будущего, от телепортации до сверхсветовых двигателей, и обращалась к нему с таким постоянством – не только в литературе, но и в играх, телешоу, комиксах и тому подобных материалах, – что наверняка о них знает практически каждый подросток в Канаде, Норвегии или Японии. То же можно сказать об основных элементах этой фантастической литературы, которая хотя и отличается от текста к тексту, от фильма к фильму, но, как ни удивительно, использует очень схожий набор персонажей, систем управления (в основном волшебных), технологий, зверей и культурных традиций. Не стоит и говорить, что он практически ни в чем не походит на то, что на самом деле имело место в Средние века. Но для понимания подлинных исторических истоков этого мира следует заглянуть в прошлое.

Мы привыкли говорить о «государстве» как о едином организме, но, на мой взгляд, современные государства лучше рассматривать как слияние трех различных элементов, имеющих разное историческое происхождение, внутренне не связанных друг с другом и, возможно, переживающих процесс окончательного размежевания.

Я буду называть эти элементы суверенитетом, администрацией и политикой.

Суверенитет обычно воспринимают как определяющую черту: в суверенном государстве правитель претендует на монополию на легитимное использование силы в рамках определенной территории. Большинство правителей Древнего мира, равно как и Средневековья, никогда не говорили о суверенитете в таком понимании. Им это и в голову не могло прийти: это была логика завоевательных империй, а не цивилизованных сообществ.

Второй элемент – администрация, которая может существовать и зачастую действительно существует без единого центра силы, обязывающего выполнять ее решения. Его, разумеется, можно просто назвать бюрократией. Действительно, недавние археологические находки из Месопотамии показывают, что бюрократические приемы зародились даже не до появления суверенных государств, а до возникновения первых городов. Они не были изобретены для управления масштабом, то есть в качестве средств организации обществ, ставших слишком крупными для того, чтобы в них можно было ограничиваться лишь личными взаимодействиями. Скорее они появились для того, чтобы побудить людей объединяться в такие крупные сообщества. По крайней мере, на это указывают исторические свидетельства. Стандартизация товаров, хранение, сертификация, делопроизводство, перераспределение и подсчет всего появились, судя по всему, в небольших городах на берегах Тигра и Евфрата и в поселениях, являвшихся их данниками, в пятом тысячелетии до нашей эры, за тысячу лет до «городской революции»¹⁴⁵. Мы не знаем, как и почему это произошло; нам даже не известно, имелись ли там бюрократы (то есть обособленный класс обученных чиновников) или речь шла лишь о становлении бюрократических приемов. Однако ко времени составления первых исторических свидетельств они уже были: мы обнаруживаем крупные дворцово-храмовые комплексы с иерархией обученных писцов, которые тщательно регистрировали и перераспределяли различные ресурсы.

Третий элемент мы можем назвать политикой, если будем использовать это слово в максимально широком смысле. Разумеется, в узком значении допустимо сказать, что все человеческие поступки имеют политическую подоплеку, поскольку с их помощью люди добиваются власти. Но общественных систем, в которых политика в этом смысле становится зрелищным видом спорта, очень немного: могущественные персонажи в них постоянно вовлекаются в общественную борьбу друг с другом, пытаются привлечь на свою сторону союзников и добиться поддержки. Сейчас мы видим в этом черту демократических систем правления, но на протяжении большей части человеческой истории это считалось скорее аристократическим феноменом. Достаточно вспомнить о гомеровских героях или, если на то пошло, о персонажах германских, кельтских или индуистских эпосов: они постоянно себя нахваливали, сражались на поединках, соревновались друг с другом, закатывая великолепные пиры или устраивая величественные жертвоприношения, или пытались превзойти друг друга, преподнося необыкновенные подарки¹⁴⁶. Такие социальные порядки, которые стали называться «героическими», представляют собой квинтэссенцию политики. Они не признают принципа суверенитета, но и не создают административной системы; иногда в них присутствует король, но обычно власть его сильно ограничена или он является чисто номинальной фигурой; реальная власть постоянно перетекает по мере того, как харизматичные аристократы собирают группы сторонников, наиболее успешные из них переманивают к себе чужих вассалов, а другие терпят громкие поражения или постепенно

уходят в тень.

Политика в этом смысле всегда была прежде всего аристократическим явлением (в Сенате США, например, неслучайно обретаются исключительно миллионеры). Вот почему на протяжении большей части европейской истории выборы считались не демократическим, а аристократическим способом отбора государственных служащих. Ведь «аристократия» буквально означает «правление лучших», и потому выборы означали, что единственная роль обычных граждан состояла в том, чтобы решить, кто из «лучших» граждан мог считаться самым лучшим; примерно так же гомеровский воин или какой-нибудь монгольский всадник мог перейти на службу к новому харизматичному полководцу (демократическим способом отбора чиновников, по крайней мере начиная с Древней Греции, был жребий, когда обычные граждане избирались на должности путем случайной лотереи).

Что у всего этого общего с драконами и волшебниками? На самом деле связей довольно много. Все имеющиеся у нас свидетельства показывают, что подобные героические порядки не появлялись спонтанно по соседству с бюрократическими обществами, а вступали с ними в симбиотическое соперничество и оставались долгое время в памяти потому, что воплощали собой отвержение любой возможной бюрократии.

Здесь я вынужден снова вернуться к археологии и особенно к работе моего друга Дэвида Уэнгроу по древнему Ближнему Востоку¹⁴⁷. Подлинные истоки того, что я называю «героическими обществами», судя по всему, находятся на холмах и горах, в пустынях и степях, раскинувшихся на окраинах великих торгово-бюрократических обществ Месопотамии, Египта и долины Инда, а затем империй вроде Рима, Персии или Китая. Экономически эти общества были тесно связаны с городскими центрами. Они поставляли туда сырье и импортировали из них самые разные предметы роскоши, изготавливаемые в городских мастерских. Тем не менее, начиная с самых ранних эпох, обе стороны стали определять себя как нечто, чем другая сторона не являлась. Горожане стали воспринимать цивилизацию как противоположность варварству; варвары, в свою очередь, начали создавать общественные порядки, в которых ключевые ценности торгово-бюрократической цивилизации ставились с ног на голову. Если одни создавали и хранили литературные шедевры, то другие отказывались от использования письма, зато чтити поэтов, которые могли всякий раз выдавать эпические стихи, импровизируя. Если одни тщательно хранили и регистрировали предметы, представлявшие материальную ценность, другие устраивали масштабные празднества в стиле потлача, где бесценные сокровища либо раздавались сторонникам или соперникам в знак презрения к материальному благосостоянию, либо вообще уничтожались, сжигались или сбрасывались в море. Если одни развивали бюрократию, которая держалась в тени, но обеспечивала предсказуемую стабильность, другие организовывали общественную жизнь вокруг харизматичных себялюбцев, бесконечно боровшихся друг с другом за власть.

Первые героические общества возникли в бронзовый век и ко времени Платона или Конфуция уже считались очень далекими воспоминаниями. Тем не менее эти воспоминания оставались яркими. Почти все великие литературные традиции начинаются с героических эпосов, которые, по сути, представляют собой позднейшие причудливые реконструкции героических обществ бронзового века. Мы можем задаться вопросом о том, почему это

произошло. Почему те самые люди, которые высмеивались представителями городской цивилизации, считавшими их невежественными варварами, так часто изображались в качестве далеких героических предков этой же цивилизации? Почему истории об их подвигах рассказывались вновь и вновь на протяжении тысяч лет?

На мой взгляд, отчасти это объясняется тем, что героические общества являются социальным строем, предназначенным для создания историй. Это возвращает нас к вопросам о самой природе политики. Вполне можно утверждать, что политические действия – и это справедливо даже на микроуровне – представляют собой такие деяния, которые начнут влиять на других людей хотя бы частично, когда те будут слышать или узнавать о них¹⁴⁸. Повседневная политика, как в поселке, так и в офисе корпорации, тесно связана с производством официального нарратива, слухов и отчетов. Очевидно, что героические общества, обратившие политическое самовозвеличивание в художественную форму, тоже были устроены таким образом, что становились огромными машинами для воспроизведения мифов. Все превращалось в арену какого-нибудь противостояния, в некий рассказ о настойчивости, вероломстве, мести, неосуществимых начинаниях, эпических походах или величественных актах самопожертвования. Вот почему поэты были так важны. Вся суть жизни заключалась в том, чтобы совершать такие деяния, которые другие люди пожелали бы воспеть. Даже на самых ранних этапах жители бюрократических обществ вроде Египта или Вавилона не могли не испытывать восхищения перед варварскими странами, которые очень скоро превратились в мрачные земли, полные монстров и странных волшебных сил. И разумеется, драматические истории о жестоких варварах стали завораживать еще больше в эпохи, когда настоящих жестоких варваров уже не осталось.

Варвары всегда существуют в симбиотической связи с бюрократической цивилизацией. В ходе истории Евразии этот паттерн повторялся много раз. Героические общества зарождались на границах империи; зачастую они даже вторгались в эти империи и разрушали их (как в случае обществ германцев, образовавшихся на границах Римской империи, или северных варваров вдоль Великой Китайской стены, или гуннов, которые граничили с обеими империями); впрочем, они обычно быстро рассеивались, превращаясь в легенду¹⁴⁹.

Можно сказать, что истоки современной фантастической литературы восходят к поздним рыцарским романам вроде «Амадиса Гальского» или «Неистового Роланда», однако узнаваемые очертания этот жанр приобрел в Викторианскую эпоху, примерно тогда же, когда почтовая служба вызвала всеобщий энтузиазм. Время действия в нем очень специфично. В определенном отношении оно является лишь современной версией сказочного рефрена «жил да был», который представлял собой как некое расплывчатое, точно не определяемое прошлое, так и другое измерение, существующее одновременно с нашим (как подтверждают многие истории, есть много мест перехода из нашего мира в мир сказочный, где время и пространство функционируют совершенно иначе). Однако тональность этой фантастической литературы совсем иная. Сказки отражают женский и детский взгляд на общество Средних веков и раннего Нового времени; их героями скорее будут доярки и пронырливые сыновья сапожников, чем царедворцы и государи; тогда как в том, что стало называться фантастической литературой, рефрен «жил да был» полностью преобразился под влиянием героического эпоса. Под «фантастической литературой» я имею

в виду прежде всего то, что иногда называют жанром «меча и колдовства», истоки которого восходят к викторианским писателям вроде Джорджа Макдональда и Лорда Дансени и самыми яркими представителями которого остаются Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Льюис и Урсула К. Ле Гуин¹⁵⁰. Именно в рамках этой традиции сформировался стандартный набор персонажей (воин, священник, волшебник), разновидности чар, чудовищ и так далее: стандартный репертуар, который повторяется в бесчисленном количестве вариантов в сотнях, если не тысячах современных литературных произведений.

Эти книги притягивают не только тем, что они дают обитателям бюрократических обществ бесконечный материал для мечтаний. Они привлекают прежде потому, что по-прежнему систематически отвергают все, чем дорожит бюрократия. Подобно тому как средневековые священники и мудрецы любили фантазировать на тему лучезарной небесной административной системы, мы грезим о приключениях средневековых священников и мудрецов в мире, из которого были тщательно устранены все признаки существования бюрократии.

Почему мы это делаем? Ну, самое простое объяснение заключается в том, что мы имеем дело с разновидностью идеологической прививки. Исторически один из самых эффективных способов, при помощи которого система власти навязывала свои добродетели, заключался в том, чтобы не говорить о них напрямую, а создавать чрезвычайно яркий образ их полного отрицания – образ того, какой, по ее мнению, была бы жизнь при полном отсутствии, допустим, патриархальной власти, капитализма или государства. Такая идеологическая уловка работает лучше всего тогда, когда на каком-нибудь уровне образ оказывается чрезвычайно привлекательным¹⁵¹. Сначала вас заманивают идеей альтернативного мира, и это замещение вызывает у вас трепет – но затем вы испытываете ужас от последствий осуществления собственных желаний.

Римские игры служат отличным тому примером. До возникновения империи в большинстве средиземноморских городов существовала та или иная форма самоуправления, а на всеобщих собраниях обсуждались дела государственной важности. При демократии даже юридические вопросы рассматривались общественными судами присяжных, состоявшими из сотен граждан. При империи эти суды, разумеется, были лишены всякой власти и постепенно исчезли. Теперь главным публичным местом, где могло собраться большое количество граждан, стал Колизей, или цирк, где демонстрировали гонки на колесницах, гладиаторские игры или травлю преступников дикими животными. Поскольку у этих граждан не было никакого опыта голосования, они поднимали или опускали большой палец, решая, предать ли смерти поверженного гладиатора.

Иными словами, империя не только оправдывала свое существование, навязывая своим подданным единообразную систему законов, но и побуждала их собираться в толпы, готовые к самосуду (игры часто спонсировались теми самыми магистратами, что председательствовали в судах), как бы говоря: «Демократия? Теперь вы знаете, к чему она приводит». Это было настолько эффективно, что в течение последующих двух тысяч лет предупреждения об опасностях демократии – а почти все образованные европейцы на протяжении большей части этого периода были настроены решительно против нее – подчеркивали, что «народ» в такой системе неизбежно начинает вести себя так же, как

толпа в римском цирке: раскалывается на враждующие группы, иррационально мечется между крайностями – от великодушия до жестокости, от слепого следования харизматическим идолам до их уничтожения. И до сих пор почти все образованные люди, даже если они неохотно соглашались допустить небольшое число демократических элементов в определенных аспектах жизни общества, считают, что их нужно строго отделять от отправления правосудия и от законотворчества.

Я не хочу, чтобы у читателя создавалось впечатление, будто все подобные институты специально придуманы правящими классами для того, чтобы манипулировать массами. Или что даже если это так, они не способны привести к противоположным последствиям. Римские цирки могли быть необычайно эффективными – они и в самом деле являлись одним из самых блестящих антидемократических институтов. Но есть и другой знаменитый пример, а именно средневековые карнавалы, прославлявшие пьянство и обжорство, бунтарство и сексуальность и носившие явно неоднозначный характер. Состоятельные покровители карнавалов, безусловно, видели в них способ предупредить массы о тех ужасах, которые могут стать явью, если рухнет иерархический порядок общества, но очевидно, что многие простые люди, непосредственно занимавшиеся организацией и проведением львиной доли празднеств, не считали эту перспективу столь же ужасной (более того, зачастую карнавалы служили прологом к настоящим бунтам)¹⁵².

Бесспорно, фантастическая литература тоже двусмысленна. Ее авторы сами часто не были уверены в том, к каким политическим последствиям приведут их произведения. Дж. Р. Р. Толкин, например, однажды заметил, что в политике он был анархистом или «неконституционным» монархистом – похоже, окончательно он так и не определился¹⁵³. Разумеется, эти две позиции объединяет то, что обе они глубоко антибюрократичны. Это справедливо и почти для всей фантастической литературы: только злые люди поддерживают системы администрации. Действительно, рассмотрев ключевые черты фантастической литературы одну за другой, можно увидеть в каждой из них решительное отвержение какого-либо аспекта бюрократии:

Фантастические миры обычно характеризуются абсолютным размежеванием добра и зла (или, во всяком случае, двусмысленного добра и абсолютного зла), что подразумевает существование сил, между которыми возможна только одна форма взаимоотношений – война. Действительно, когда дело доходит до конфликта с такими отъявленными негодьями, то и война становится абсолютной, не регулируемой ни обычаями, ни этикетом, ни рыцарским кодексом чести. Это резко контрастирует с героическими или средневековыми обществами, где организованное насилие – излюбленное времяпрепровождение аристократов – чаще походило на ритуальную игру, в которой честь была превыше всего. Принцип абсолютного зла словно выступает в качестве отрицания **бюрократического принципа свободной от оценочных суждений и строго упорядоченной нейтральности** и того факта, что такие категории, как добро и зло, совершенно чужды любому административному порядку. Фантастические миры создают настолько абсолютные вселенные, что в них просто нельзя быть свободным от оценочных суждений.

Существование в фантастических мирах различных видов полулюдей: гномов, темных эльфов, троллей, – которые, по сути своей, являются людьми, но которых совершенно невозможно включить в какой-либо более широкий социальный, юридический или политический порядок, создает мир, где царит настоящий расизм. Часто язык расы используется напрямую: «раса эльфов», «раса карликов» и так далее. Даже в тех случаях, когда это не так, в данных мирах действительно существуют различные виды гуманоидных существ, которые способны говорить, строить дома, добывать пищу, создавать произведения искусства и проводить ритуалы, то есть которые выглядят и поступают как люди, но тем не менее обладают глубоко отличными нравственными и интеллектуальными качествами. Это, среди прочего, отражает полное отрицание **бюрократического принципа безразличия**, согласно которому правила для всех одинаковы, положение твоих родственников не имеет значения и все должны быть равны перед законом. Если одни люди – чудовища, а другие – феи, равное отношение ко всем по этой самой причине невысказано.

Законная власть в фантастических мирах обычно основана на чистой харизме или на памяти о былой харизме. Арагорн никогда никого не принуждает следовать за ним. Не делает этого и Аслан. И Гед. Только плохие парни создают государствоподобное устройство, причем когда они это делают, у них выходит аппарат чистого принуждения. Более того, харизматическая власть, которая постоянно не обновляется, обычно увядает и разворачивается (например, Денетор, Горменгаст) или перерождается в отвратительные, гротескные, замогильные формы. Поскольку сама возможность реальной, живой, харизматичной власти всегда основана на войне, это означает, что законная власть невозможна без постоянного отсутствия физической безопасности. Иными словами, политический идеал современных «демократических» республик, в которых политики постоянно борются за привлечение сторонников, сохраняется – и это неудивительно, поскольку, как я подчеркивал, в этом заключался героическо-аристократический элемент, присутствующий в таких республиках, – но остается полностью отделенным от принципов суверенитета и прежде всего от **регулярности и предсказуемости бюрократических процедур и от рутинизации силы, которая в бюрократическом порядке считается законной лишь до тех пор, пока используется для поддержания этого принципа регулярности**. Вкратце, в фантастических мирах поистине законные представители власти, как правило, жестоки, но не применяют насилие для обеспечения исполнения правил.

Как результат, в фантастике, как и в героических обществах, политическая жизнь во многом зиждется на создании мифов. Нарративы помещены внутрь нарративов; сюжетная линия типичного фантастического произведения зачастую сама описывает процесс рассказывания и истолкования историй, а также получения материала для новых. Это сильно контрастирует с **механической природой бюрократических операций**. Административные процедуры никак не связаны с мифотворчеством; в бюрократическом антураже истории появляются тогда, когда что-то идет не так. Когда все развивается своим чередом, никакой нити повествования не прослеживается.

Более того, герои постоянно имеют дело с тайнами, записанными на древних языках, с темными мифами и пророчествами, с картами, покрытыми руническими головоломками и подобными вещами. Бюрократические процедуры, напротив, исходят из **принципа прозрачности**. Подразумевается, что правила ясны, единообразны и всем доступны. Как

все мы знаем, в действительности так бывает редко. Но считается, что в теории это так. Для большинства из нас административные формы по меньшей мере столь же темны, как и эльфийские письма, которые можно увидеть лишь при определенных фазах луны. Но они и не должны быть ясными. Ведь один из бюрократических приемов, который бесит больше всего, состоит в сокрытии информации под ложным предлогом прозрачности: например, можно похоронить важные сведения в потоке ведомственных электронных писем, которых так много, что никто не сумеет прочитать их все. Когда мы жалуемся на то, что нас не уведомили о новых процедурах или обязанностях, бюрократы с ликованием выдают дату и детали документов (обычно выпущенных несколькими месяцами ранее), в которых излагались новые правила¹⁵⁴. По сравнению с этим в фантастических текстах есть своего рода удовольствие: головоломки – это действительно головоломки, они и должны быть головоломками, и нет назойливых людей, которые появятся, чтобы прочитать вам лекцию о том, что все совершенно просто и прозрачно и что проблема именно в вас, раз вы в этом не сразу разобрались.

Как показывает последний пример, когда мы обсуждаем эти константы, мы говорим о некоем абстрактном идеале того, как должны работать бюрократические системы, а не о том, как они на самом деле работают. В действительности бюрократии редко бывают нейтральными; они почти всегда подчиняются определенным привилегированным группам (зачастую расовым) или благоприятствуют им больше, чем остальным; они устанавливают настолько сложные и противоречивые правила, что им практически невозможно следовать, в результате чего управленцы получают огромную личную власть. Тем не менее в реальном мире все эти отступления от бюрократического принципа расцениваются как злоупотребления. В фантастических мирах они считаются добродетелями.

И все же эти добродетели оказываются преходящими. Посещение фантастической страны – захватывающее предприятие. Мало кто из нас захотел бы в ней жить. Но если я прав, утверждая, что такая литература, вне зависимости от намерений авторов, в конечном итоге побуждает читателей задаваться вопросом о последствиях их подозрений относительно бюрократического существования, то суть именно в этом.

Таким образом, фантастическая литература в значительной степени представляет собой попытку представить мир, полностью очищенный от бюрократии, – читатели могут смаковать ее и как разновидность искупительного эскапизма, и как подтверждение того, что, в конце концов, скучный администрируемый мир, возможно, лучше любой альтернативы, которую только можно представить.

И тем не менее в таких мирах бюрократия и бюрократические принципы отсутствуют не полностью. Они просачиваются с разных направлений.

Во-первых, старая воображаемая администрация Вселенной, разработанная в Средние века, в большинстве фантастических миров отвергается не целиком. Это происходит потому, что,

хотя в таких мирах технология находится на уровне ветряных и водяных мельниц, магия там почти всегда работает. А тот вид магии, который встречается в этих историях, чаще всего позаимствован из западной церемониальной магической традиции, идущей от древних чародеев вроде Ямвлиха до викторианских магов вроде Макгрегора Мазерса и полной демонов, которых призывают при помощи магических кругов, песнопений, заговоров, мантий, талисманов, свитков и волшебных палочек. То же касается космических иерархий, сложных логических порядков заклинаний, орденов, властей, влияний, небесных сфер с их различными силами, обозначениями и сферами административной ответственности: все они обычно так или иначе сохраняются как скрытая возможная форма власти в рамках ткани самой антибюрократической вселенной. Действительно, в самых ранних и наиболее антибюрократических мирах колдуны либо зловредны (Зукала из «Конана-варвара» или миллион ему подобных злодеев из дешевых романов, или даже аморальный Элрик Майкла Муркока)¹⁵⁵, либо, если они добрые, технический аспект их искусства минимизируется (способности Гэндальфа скорее представляются продолжением его личной харизмы, чем зависят от знания таинственных заклинаний). Но с течением времени, на пути от «Волшебника Земноморья» до «Гарри Поттера», магия – и магические знания – занимали все более центральное место. И разумеется, когда мы доходим до Гарри Поттера, мы совершаем путешествие от явно выраженных героических царств вроде Киммерии, Эльфленда или Гипербореи до антибюрократического нарратива, который располагается в рамках классического бюрократического института: английской закрытой школы в волшебном мире, где тем не менее полно скамеек, есть Министерство магии, Следственные комиссии и даже тюрьмы. В книгах о Гарри Поттере в этом и заключается юмор: давайте возьмем наиболее унылое, скучное учреждение, повинное в разочарованности мира, и попытаемся состряпать самые смелые его версии, которые мы только можем представить.

Как это могло произойти? Ну, одна причина состоит в том, что жанры популярной фантастики все меньше ограничиваются одними лишь книгами (это особенно справедливо, если дело так или иначе касается детей или подростков). Причем они получили распространение не только в кино- или телефильмах: их можно встретить в настольных играх и моделях, пазлах и игрушках-трансформерах, различных видах фан-литературы, в интернет-журналах и в фан-арте, в видео- и компьютерных играх. В случае фантастического жанра невозможно понять позднее развитие литературы, не принимая во внимание ставшую популярной в конце 1970-х ролевую игру «Драконы и подземелья», которая дала возможность сотням тысяч подростков по всему миру придумывать собственные фантастические миры и приключения, как если бы они все вместе писали историю или сценарий своих приключений в режиме реального времени.

С одной стороны, игра D&D (как называют ее поклонники) дает максимальную свободу, которую только можно представить: персонажам разрешено делать все что угодно в рамках мира, сотворенного Мастером подземелья с его книгами, картами, таблицами и предварительно созданными городами, замками, подземельями и дикой местностью. Во многих отношениях она носит довольно анархический характер, поскольку, в отличие от классических военных игр, где можно командовать армией, здесь есть то, что анархисты назвали бы «группами по интересам», то есть группы людей, сотрудничающих ради достижения общей цели (ведение поисков или просто желание накопить сокровища и опыт)

при помощи дополнительных способностей (воин, священник, пользователь магии, вор и т. д.), но нет явно выраженной иерархической цепочки. Поэтому социальные отношения представляют собой полную противоположность безличной бюрократической иерархии. Однако, с другой стороны, D&D представляет собой окончательную бюрократизацию антибюрократической фантазии. Есть каталоги всего: типов чудовищ (каменные великаны, ледяные великаны, огненные великаны и т. д.) с тщательно ранжированными способностями и средним количеством хитпойнтов (определяющих, насколько сложно их убить); человеческих способностей (сила, ум, мудрость, ловкость, телосложение и т. д.); перечней заклинаний, доступных на различных уровнях активности (волшебные ракеты, огненные шары, прохождение сквозь стены и т. д.); видов богов и демонов; эффективности различных видов доспехов и оружия; даже нравственных свойств (персонажи могут быть законопослушными, нейтральными или непоследовательными, а также хорошими, нейтральными или злыми; различные сочетания этих свойств дают девять возможных базовых нравственных типов). Книги в D&D отдаленно напоминают средневековые бестиарии и сборники заклинаний. Но они в значительной степени состоят из статистических данных. Все важные свойства можно свести к цифрам. В самой игре действительно нет правил; книги представляют собой лишь руководства; Мастер подземелья может (а на самом деле должен) придерживаться их, изобретая новые заклинания, монстров и тысячи вариантов уже существующих заклинаний и монстров. Каждая вселенная Мастера заклинаний отличается от прочих. Цифры в определенном смысле представляют собой основу для безумных финтов воображения и сами являются разновидностью поэтической технологии.

И все же введение цифр, стандартизации типов персонажей, способностей, чудовищ, сокровищ, заклинаний, концепции очков способностей и хитпойнтов оказало сильное влияние, когда произошел переход от мира 6-, 8-, 12- и 20-гранных игральных костей к миру цифровых интерфейсов. Компьютерные игры сумели превратить фантастику в почти полностью бюрократическую процедуру: накопление очков, переход на другие уровни и так далее. Произошел возврат к командованию армиями. Это, в свою очередь, было компенсировано движением в другом направлении, а именно введением ролевого принципа в компьютерные игры (ElfQuest, World of Warcraft) – здесь проявилось постоянное перетягивание каната между императивами поэтических и бюрократических технологий. Однако тем самым игры в конечном итоге усиливают ощущение того, что мы живем в мире, где бухгалтерские процедуры определяют саму ткань реальности, где даже самое полное отрицание управляемого мира, в котором мы застряли, может привести лишь к другой версии того же самого.

IV. Утопия правил

Одна из причин, почему я решил посвятить так много времени фантастическим мирам, заключается в том, что эта тема раскрывает определенные ключевые вопросы о природе забавы, игр и свободы – все они, по моему убеждению, лежат в основе скрытой притягательности бюрократии. С одной стороны, бюрократия от забавы бесконечно далека. Механическая и безличная, она могла бы воплощать собой отрицание любой возможности забавы. С другой стороны, у того, кто увязает в бюрократической волоките, возникает

ощущение, будто он попал в какую-то ужасающую игру.

Бюрократии создают игры – просто ничего увлекательного в этих играх нет. Но здесь может быть полезным подробнее разобраться, что, собственно, представляют собой игры и что именно делает их занимательными. Прежде всего, каковы отношения между забавой и играми? Мы играем в игры. Так значит ли это, что забава и игра по сути одинаковы? Конечно, в английском языке существует различие между понятиями play и game – в большинстве языков они обозначаются одним и тем же словом (это касается почти всех европейских языков, как в случае французского jeu или немецкого Spiel[6]). Но, с другой стороны, эти понятия оказываются противоположны друг другу, поскольку одно из них ассоциируется со свободным творчеством, а второе – с правилами.

Великий голландский социолог Йохан Хёйзинга написал книгу «Человек играющий», которая, на первый взгляд, посвящена теории игры. На самом деле эта книга излагает очень плохую теорию забавы, но совсем не плохую теорию игр¹⁵⁶. Согласно Хёйзинге, у игр есть кое-какие общие черты. Во-первых, они очевидно привязаны ко времени и пространству и потому оказываются за рамками обычной жизни. В них есть поле, доска, стартовый пистолет и финишная линия. В рамках этого времени/пространства некоторые люди выступают в качестве игроков. Есть также правила, точно определяющие, что эти игроки могут делать, а чего нет. Наконец, всегда есть некое ясное представление о том, что стоит на кону, и о том, что игроки должны делать, чтобы победить. И самое важное: этим все и ограничивается. Всякое место, человек или действие, которые выпадают из этих рамок, с игрой не связаны; они не имеют значения; они не являются ее частью. Выражаясь иначе, игра – это действие, полностью регулируемое правилами.

Мне это кажется важным, ведь именно поэтому игры увлекательны. Почти во всех прочих аспектах человеческого существования все эти вещи носят двусмысленный характер. Представьте себе семейную ссору или соперничество на рабочем месте. Кто в этом участвует, а кто нет, что считать честным, когда это все началось и когда закончится, что значит фраза «Ты победил» – все это чрезвычайно сложно определить. Труднее всего понять правила. Практически в любой ситуации, в которой мы оказываемся, есть правила – даже в случайном разговоре есть негласные предписания относительно того, кто может говорить, в каком порядке, в каком темпе, каким тоном, с какой степенью учтивости, какие темы уместны, а какие нет, когда можно улыбнуться, какой юмор допустим, как нужно смотреть и миллион других подобных вещей. Эти правила редко бывают четкими, обычно многие из них противоречат друг другу и к ним могут апеллировать в любой момент. Поэтому мы всегда выполняем сложную работу, балансируя между ними и пытаюсь предугадать, как будут действовать другие. Игры дают нам единственный реальный опыт ситуации, из которой вся эта двусмысленность устранена. Все точно знают, в чем заключаются правила. Мало того, люди им еще и следуют. А соблюдая их, можно еще и выиграть! Это – наряду с тем фактом, что, в отличие от реальной жизни, люди подчиняются правилам совершенно добровольно – служит источником удовольствия.

Таким образом, игры – это своего рода утопия правил.

Через это мы поймем настоящую разницу между играми и забавой. Действительно, можно играть в игру; но «забава» не обязательно подразумевает существование правил¹⁵⁷. Забава может быть исключительно импровизаций. Допустимо просто забавляться, и все. В этом смысле забава в своей чистой форме, в отличие от игр, представляет собой абсолютное выражение творческой энергии. Действительно, если бы было возможно выработать рабочее определение «забавы» (а это откровенно трудно), то получилось бы что-то вроде следующего: о забаве речь идет тогда, когда свободное выражение творческой энергии становится целью само по себе. Это свобода ради самой свободы. Но в определенном смысле это также превращает забаву в понятие более высокого уровня: забава может создавать игры, она может порождать правила – действительно, она неизбежно производит негласные правила, поскольку совершенно неопределенная забава очень скоро становится скучной – но сама забава по определению не станет подчиняться правилам. Это тем более справедливо, когда забава становится социальной. Исследования о забавах детей, например, неизбежно приходят к выводу о том, что дети, играющие в придуманные ими игры, проводят, по меньшей мере, столько же времени за спорами о правилах, сколько, собственно, за самой игрой. Такие споры сами становятся формами забавы¹⁵⁸.

С одной стороны, все это очевидно: мы просто говорим о становлении формы. Свобода должна сопрягаться с чем-то, иначе она представляет собой просто неопределенность. Это означает, что абсолютно чистая форма забавы, совершенно свободная от каких-либо правил (за исключением тех, которые она сама порождает и может устранить в любой момент), сама может существовать только в нашем воображении как аспект тех божественных сил, что порождают космос.

Вот цитата из статьи индийского философа науки Шива Вишванатана:

“Игра – это ограниченный, специфический метод решения проблем. Забава носит более космический и неограниченный характер. Забава присуща богам, а человек – это, к сожалению, существо, занимающееся играми. У игры есть предсказуемое завершение, у забавы его может не быть. Забава оставляет место для непредвиденности, новизны, неожиданности¹⁵⁹.”

се так. Но именно по этой причине в забаве есть еще и нечто потенциально ужасающее. Потому что такое неограниченное творчество также позволяет ей быть беспорядочно разрушительной. Кошки забавляются с мышами. Выдергивание крыльев у мух – тоже разновидность забавы. Любой человек в здравом уме вряд ли захотел бы встретиться с забавляющимися богами.

Так что я позволю себе высказать одно предположение.

В конечном счете привлекательность бюрократии зиждется на страхе перед забавой.

Для социального теоретика есть очевидная аналогия забавы как принципа, который порождает правила, но сам ими не связан. Это принцип суверенитета. Читатель, наверное,

помнит, что суверенитет был одним из трех элементов – наряду с администрацией и политикой, – которые, в конце концов, слились в современное понятие государства. Сегодня в политической теории термин «суверенитет» в основном используется как синоним «независимости» или «самостоятельности», то есть права правительства делать то, что оно пожелает, в пределах собственных границ, но изначально он возник из очень специфических европейских дебатов о власти королей. По сути, вопрос был в следующем: можно ли сказать, что верховный правитель королевства в каком-либо отношении связан законами?

Те, кто утверждал, что суверены свободны от них, проводили аналогию с божественной властью. Бог – это создатель и главный блюститель любой системы космической нравственности. Но для того, чтобы создать систему, он должен быть первичным по отношению к ней; по этой причине сам Бог не может быть связан нравственными законами. Такой вывод вовсе не является чем-то необычным. На Мадагаскаре народная мудрость выражала это довольно ясно: Бог предстал и в роли высшего судьи, наблюдающего сверху и карающего за проступки, и в то же время в виде совершенно капризной фигуры, мечущей грома и молнии и губящей смертных безо всякой причины. Некоторые африканские цари пытались быть человеческим воплощением этого абсолютного принципа: самым известным примером был Кабака из царства Ганда. Когда он встречался с английскими гостями, пытавшимися произвести на него впечатление каким-нибудь новым эффективным ружьем, он, в свою очередь, поражал их, испытывая это ружье на своих подданных, случайно проходивших по улице (он был также известен тем, что казнил своих жен за то, что те чихали). В то же время легитимность Кабаки как монарха заключалась прежде всего в его репутации беспристрастного отправителя правосудия в качестве верховного судьи. Поскольку царь мог делать (или брать) все, что хотел, его невозможно было подкупить, поэтому у него действительно не было причин не быть беспристрастным. Доведение принципа до таких крайностей в царстве Ганда являлось необычным (стоит отметить, что в Африке цари, заходившие так далеко, почти неизбежно плохо заканчивали), но все же есть прямая непрерывная связь между этим абсолютным понятием трансцендентного суверенитета и, скажем, «Политической теологией» Карла Шмитта, в которой утверждается, что в современных государствах суверенная власть, в конце концов, заключается в праве пренебрегать законами¹⁶⁰.

Суверенитет в этом смысле, по сути, тождественен забаве как производительному принципу, порождающему игры; но если это так, то он представляет собой забаву и в самом ужасающем, космическом виде. Некоторые обозначают это понятием «иерархической» забавы, которое, судя по всему, получило наиболее полное развитие в индийской теологии, где сам космос является плодом забавы божественных сил¹⁶¹. Но, как отмечает Брайан Саттон-Смит в своей книге «Двусмысленность игры», это представление преобладало в Древнем мире, где люди были марионетками в руках судьбы и рока; в таких условиях люди предпочитают азартные игры, в которых мы добровольно отдаем себя во власть прихотей богов¹⁶².

В подобном мире свобода действительно является игрой с нулевой суммой. Свобода богов или царей – это мера человеческого рабства.

Несложно догадаться, куда я клоню. Современные государства основаны на принципе народного суверенитета. В конечном итоге божественная власть царей передана сущности под названием «народ». На практике, однако, далеко не ясно, что вообще должен означать народный суверенитет в таком смысле. По известному замечанию Макса Вебера, институциональные представители государства обладают монополией на право применения насилия в пределах государственной территории¹⁶³. Обычно такое насилие может осуществляться лишь определенными уполномоченными лицами (солдатами, полицейскими, тюремщиками) или теми, кто уполномочен этими лицами (сотрудниками безопасности аэропортов, частными телохранителями), и только в четко обозначенных законом формах. Однако, по сути, суверенная власть все равно остается правом пренебрегать этими требованиями закона или создавать их по ходу дела¹⁶⁴. Соединенные Штаты могут сколько угодно называть себя «страной законов, а не людей», но, как мы узнали в последние годы, американские президенты способны отдавать приказы о применении пыток, совершении убийств, внедрении программ слежения в масштабах всей страны и даже организации не попадающих под действие закона зон вроде Гуантанамо, где с заключенными можно обращаться так, как вздумается. Даже на более низком уровне те, кто обеспечивают соблюдение закона, на самом деле ему не подчиняются. Например, офицеру полиции очень трудно сделать с американским гражданином что-то такое, что будет признано преступлением и повлечет за собой осуждение¹⁶⁵.

Брайан Саттон-Смит утверждает, что в современном мире старое, «иерархическое» представление о забаве, которое иногда называют «темной забавой», утратило влияние. Начиная с романтической эпохи, ему на смену пришло множество более ярких демократических риторических приемов, рассматривающих забаву как нечто бунтарское или поучительное или же связанное с воображением. Несомненно, так и есть. Однако мне кажется, что старая концепция не исчезла полностью¹⁶⁶. Она сохранилась хотя бы на политическом уровне, где каждое произвольное действие власти, как правило, усиливает ощущение, что проблема не во власти, а в произволе, то есть собственно в свободе¹⁶⁷.

Примерно это и произошло везде, где республиканская форма правления (сегодня ошибочно называемая «демократией») стала нормой. Законный порядок, а значит и зоны, где соблюдение правил обеспечивается в первую очередь государственным насилием, распространился настолько, что стал определять и регулировать практически все стороны человеческой деятельности. Поэтому, как я говорил ранее, мы докатились до того, что у нас есть предписания для всего: от того, где дозволено подавать или потреблять различные виды напитков, как допустимо работать, когда можно и когда нельзя уходить с работы, до размеров рекламных объявлений на улицах. Угроза применения силы пронизывает практически все стороны нашего существования в таких формах, которые и представить было нельзя в правление Гелиогабала, Чингисхана или Сулеймана Великолепного.

Я уже писал об этом вторжении регулирования и насилия во все сферы нашей жизни. Здесь я хочу сказать, что истоки этого императива восходят к негласной космологии, где принцип забавы (и, в более широком смысле, творчества) сам по себе считается пугающим, в то время как поведение, характерное для игры, рассматривается как прозрачное и

предсказуемое, а распространение всех этих правил и предписаний расценивается как разновидность свободы.

Это происходит даже в таких обстоятельствах, в которых угроза государственного насилия максимально далека. Хорошим примером может служить управление университетскими кафедрами. Как я уже писал, антропологи упорно отказываются использовать свои аналитические инструменты для изучения собственной институциональной среды, но есть и исключения; одним из них является блестящий анализ, проведенный Мэрилин Стратерн и посвященный тому, что в Великобритании стало называться «культурой аудита». Культура аудита исходит из мысли о том, что в отсутствие ясных, «прозрачных» критериев понимания того, как люди занимаются своей работой, вузы просто превращаются в феодальную систему, основанную на произвольной личной власти. На первый взгляд, с этим трудно поспорить. Кто будет выступать против прозрачности? Стратерн возглавляла кафедру антропологии в Кембридже, когда начались эти реформы, и в своей книге «Культуры аудита» она показала фактические последствия данной степени бюрократизации¹⁶⁸. Кембридж с его бесконечными обычаями и традициями был в определенном смысле образцовым феодальным учреждением, и у кафедры антропологии (хотя она и являлась относительно новой) имелись свои традиционные процедуры, которые никто не мог четко выразить и даже до конца понять. Но для того чтобы стать «прозрачной» для администрации, кафедра должна была начать формулировать эти процедуры; на практике это означало, что ее сотрудникам пришлось превращать тонкие, нюансированные процессы в четко определенный набор правил. По сути, им следовало модифицировать обычаи в разновидность настольной игры. Первой реакцией у всякого, кто сталкивался с такими требованиями, было: «Ну конечно, мы должны просто записать это для властей и дальше жить так, как мы всегда жили». Но на деле это очень скоро стало невозможным, потому что как только возникал любой конфликт, обе участвующие в нем стороны автоматически апеллировали к должностной инструкции.

Целью таких реформ может быть устранение произвольной личной власти, но они, конечно, никогда ее не достигают. Личная власть просто перескакивает на другой уровень и превращается в способность пренебрегать правилами в специфических случаях (это опять-таки миниатюрная версия суверенной власти). Однако на деле тот факт, что реформы ни в каком отношении не достигают поставленных целей, не подрывает их легитимность. Наоборот, результат оказывается ровно противоположным, поскольку всякий, кто возражает против такой персонализированной власти, может лишь требовать еще большего количества правил и еще большей «прозрачности». Внезапно свобода и справедливость становятся вопросом сведения всего в игру.

Если задуматься, такое случается постоянно, причем даже в обстоятельствах, никак не связанных с произвольной личной властью. Наиболее очевидный пример тому – язык. Назовем это эффектом учебника грамматики. Люди не изобретают языков путем написания грамматики, они пишут грамматику – по крайней мере, первую грамматику того или иного языка, – наблюдая негласные и во многом бессознательные правила, которые они, как кажется, применяют, когда говорят. Но когда появляется книга, и особенно когда она начинает использоваться в учебных классах, люди чувствуют, что правила – это не просто описание того, как говорят, а предписания относительно того, как следует говорить.

Этот феномен легко наблюдать в местах, где грамматика была зафиксирована не так давно. Во многих странах грамматику и первые словари составили христианские миссионеры в XIX и даже XX веке для перевода Библии и других священных текстов на языки, являвшиеся бесписьменными. Например, первая грамматика малагасийского языка, на котором говорят на Мадагаскаре, была написана в 1810–1820-е годы. Разумеется, язык все время меняется, поэтому малагасийский разговорный язык – и даже его грамматика – довольно сильно отличается от того, каким он был двести лет назад. Тем не менее, поскольку все учат грамматику в школе, если вы обратите на это внимание, люди автоматически ответят, что сегодня носители языка просто совершают ошибки, – не следуя правилам. Кажется, что никому никогда и в голову не приходит – до тех пор, пока вы не обратите на это внимание, – что, если бы миссионеры пришли и написали свои книги на двести лет позже, современное словоупотребление являлось бы единственно правильным и считалось бы, что всякий, кто говорит так, как говорили двести лет назад, делает ошибки.

Я на своем опыте убедился, что такой подход чрезвычайно усложняет процесс изучения разговорного малагасийского языка. Даже когда я брал уроки у его носителей, допустим университетских студентов, они учили меня говорить на языке XIX века, которому обучали в школах. По мере того как мой уровень владения малагасийским повышался, я стал замечать, что язык, на котором они общались между собой, никак не походил на то, чему они учили меня. Но когда я спрашивал об используемых ими грамматических формах, о которых не упоминалось в книгах, они лишь пожимали плечами и отвечали: «Ой, да это сленг, не говори так». В конце концов, я обнаружил, что единственный способ выучить современный разговорный малагасийский язык заключался в том, чтобы записывать разговоры, пытаться самостоятельно их расшифровывать и потом обращаться к друзьям за помощью всякий раз, когда я сталкивался с неизвестными мне выражениями или словосочетаниями. Других методов не было: раз они решили, что эти грамматические формы были неправильными, они просто не могли объяснить их мне в грамматических категориях.

В случае кафедры антропологии в Кембридже правила прописали и потом заморозили, на первый взгляд для того, чтобы устранить произвольную, личную власть. Эти реформы явно не имеют ничего общего с неприятием произвольной власти, зато тесно связаны с неприятием самой произвольности – неприятием, которое ведет к бездумному принятию власти в ее наиболее формальной, институциональной форме. Ведь где мы впервые сталкиваемся с формальной властью, определяемой правилами, если не в начальной школе – в ходе общения с учителями? Это справедливо и на Мадагаскаре, и где бы то ни было еще. Когда я спрашивал своих друзей, почему никто не говорит на том языке, что описывается в учебниках, неизменно следовал ответ, что, мол, ты же знаешь, что люди ленивы. Разумеется, проблема заключалась в том, что все население не сумело как следует выучить уроки. Но на самом деле они отрицали законность коллективного творчества, свободной забавы системы.

О языке стоит немного поразмышлять, ведь это, возможно, лучшее свидетельство того, что в самом нашем представлении о свободе есть базовый парадокс. С одной стороны, правила по природе своей принуждают. Нормы речи, правила этикета и грамматические предписания – все они ограничивают то, что мы можем сказать, а чего не можем.

Неслучайно, что один из главных образов угнетения, засевающий у всех нас в голове, – это учительница, которая бьет ребенка по пальцам за какую-нибудь грамматическую ошибку. Но в то же время, если бы не было общих для всех представлений любого вида – ни семантики, ни синтаксиса, ни фонетики, – мы бы просто бессвязно лепетали и не были бы способны общаться друг с другом. Разумеется, в таких обстоятельствах ни у кого из нас не было бы свободы что-либо делать. Поэтому в какой-то момент принуждающие правила берут верх над разрешающими, даже если невозможно определить, когда именно это происходит. Поэтому свобода представляет собой напряжение между свободной забавой человеческого творчества и правилами, что оно постоянно порождает. И именно это всегда наблюдают лингвисты. Нет языка без грамматики. Но нет и языка, в котором всё, в том числе и грамматика, не меняется постоянно.

Мы редко спрашиваем себя о причинах этого. Почему языки все время преобразуются? Довольно просто понять, почему у нас должны быть договоренности относительно грамматики и словарного запаса, чтобы иметь возможность говорить друг с другом. Но если язык нам нужен исключительно для этого, допустимо предположить, что, создав грамматику и словарный запас, отвечающие их целям, определенное количество носителей языка будет просто придерживаться их, вероятно меняя словарный запас (если появляется свежая тема для обсуждения – новая тенденция или изобретение, импортный овощ), но оставляя все остальное неизменным. На самом деле такого никогда не происходит. Нам не известен ни один зафиксированный пример языка, который в течение, скажем, столетия, не менялся ни по звучанию, ни по структуре¹⁶⁹. Это справедливо даже для языков наиболее «традиционных» обществ; это происходит даже там, где были созданы сложные институциональные структуры вроде средних школ или Французской академии для того, чтобы этого не происходило. Бесспорно, отчасти это результат откровенного бунтовства (молодежь пытается отмежеваться от старших поколений, например), но трудно не прийти к выводу о том, что в действительности мы здесь имеем дело с принципом забавы в самом его чистом виде. Вне зависимости от того, владеют ли люди языками абу-арапеш, хопи или норвежским, им становится скучно говорить все время одинаково. Они всегда будут хотя бы чуть-чуть играть с языком. И эта забава постоянно будет иметь совокупный эффект.

Это позволяет предположить, что люди везде испытывают предрасположенность к двум совершенно противоположным склонностям: с одной стороны, к творческой забаве ради самой забавы; с другой стороны, к соглашательству со всяким, кто говорит им, что им не следует так поступать. Последняя склонность и делает возможной «игрофикацию» институциональной жизни. Ведь если довести ее до логического завершения, любая свобода станет произволом, а любой произвол – разновидностью опасной, разрушительной власти. От этого лишь шаг до утверждения, что настоящая свобода состоит в том, чтобы жить в полностью предсказуемом мире, свободном от такого рода свободы.

В завершение позволю себе привести еще один пример из моего собственного политического опыта.

В последние тридцать или сорок лет борцы с авторитаризмом по всему миру трудились над созданием новых, более эффективных видов прямой демократии, которые могли бы функционировать, не испытывая потребности в бюрократии насилия. В других своих работах я подробно описывал эти усилия. Был достигнут значительный прогресс. Но реализация таких проектов зачастую вынуждает решать проблему «произвольной власти», вызывающей такой ужас. Например, разработка новых форм достижения консенсуса отчасти состоит в создании институциональных форм, которые не подавляют, а поощряют импровизацию и творчество. Как говорят сами активисты, в большинстве случаев, если собрать толпу народа, эта толпа как группа будет вести себя менее разумно и менее творчески, чем каждый ее участник по отдельности. Процесс принятия решений среди активистов, напротив, нацелен на то, чтобы сделать эту толпу умнее и изобретательнее каждого отдельного ее участника.

Это возможно, но требует масштабной работы. И чем шире группа, тем более формальные механизмы нужно создавать. Единственная важная работа во всей активистской традиции называется «Тирания бесструктурности»¹⁷⁰: она была написана в 70-е годы XX века Джо Фримен и посвящена кризисам организации, имевшим место в ранних феминистских группах пробуждения сознания, когда эти группы достигли определенного размера. Фримен отмечала, что такие коллективы всегда начинали с грубоватых форм анархизма и с предположения о том, что им вообще не нужны какие-либо формальные парламентские механизмы процедурного типа. Люди просто могли сесть по-дружески рядом и во всем разобраться. Поначалу так и происходило. Однако, когда численность групп вырастала, скажем, до двадцати человек, неизбежно появлялись негласные клики и маленькие группки друзей или союзников начинали контролировать информацию, составлять повестки дня и бороться за власть при помощи самых разных тонких способов. Фримен предложила ряд различных универсальных механизмов, которые могли уравновесить этот феномен, но для данных целей специфика на самом деле не важна. Достаточно сказать, что то, что сейчас называется «процессом формального консенсуса» рождается, в основном, из кризиса, описанного Фримен, и из порожденных им дебатов.

Здесь я хочу обратить внимание на то, что почти все те, кто не отталкивается от явно антиавторитарной позиции (и немало тех, кто ее придерживается), совершенно неверно истолковывают работу Фримен, видя в ней не призыв к созданию формальных механизмов для обеспечения равенства, а предложение построения более прозрачной иерархии. Это особенно характерно для ленинистов, но и либералы недалеко от них ушли. Я даже не могу сказать, сколько раз я спорил на эту тему. Они всегда действуют одинаково. Прежде всего, аргумент Фримен о формировании сообществ и невидимых властных структур воспринимается как тезис о том, что в любой группе численностью более двадцати человек всегда будут клики, властные структуры и люди, облеченные властью. Следующий шаг – это утверждение, что если вы хотите свести к минимуму власть таких сообществ или любые пагубные последствия, к которым могут привести эти властные структуры, то добиться этого можно лишь путем их институционализации, то есть методом превращения фактических сообществ в центральный комитет (поскольку у этого словосочетания плохая история, его обычно называют координационным комитетом, организационным комитетом или чем-то в этом духе). Нужно вывести власть из тени – формализовать процесс, разработать правила, провести выборы, уточнить, что именно клике дозволено делать, а что

нет. Тогда власть хотя бы будет более прозрачной и «подотчетной» (обратите внимание на это слово: оно происходит из процедур отчетности). Власть ни в коей мере не будет произвольной.

С практической, активистской точки зрения эти предписания, разумеется, смешны. Намного проще ограничить рамки, в которых неформальные сообщества могут применять настоящую власть, не наделяя себя каким-либо официальным статусом, а значит, и какой-либо легитимностью; что бы ни подразумевалось под «формальными структурами отчетности», клики, превратившиеся в комитеты, будут намного менее эффективными в этом отношении не в последнюю очередь потому, что в конечном счете они узаконят, а затем значительно расширят дифференцированный доступ к информации, который предоставляет определенным участникам групп, являющихся эгалитарными в прочих отношениях, большую власть. Как я отмечал в первой главе, структуры прозрачности, едва появившись, неизбежно начинают превращаться в структуры глупости.

Допустим, кто-то отстаивает этот тезис и критик соглашается с ним (по обыкновению, последним приходится это делать, потому что данный тезис основан на здравом смысле). В этом случае следующая линия защиты, как правило, носит эстетический характер: критик будет утверждать, что просто противно иметь структуры реальной власти, которые не признаны и которые можно считать произвольными, даже если они полностью лишены возможностей насильственного принуждения. Обычно собеседник не заходит так далеко, признавая, что такого рода возражения – из области эстетики. Доводы по большей части выражаются в нравственных категориях. Но иногда вы можете обнаружить людей достаточно честных для того, чтобы признать, что так и есть. Я хорошо помню дебаты с Норманом Финкельштейном, проводившиеся под эгидой движения «Захвати Уолл-стрит». Этот блестящий и достойный всяческого восхищения активист, вдохновленный принципами Движения за гражданские права, по-прежнему считал образцом для подражания группы вроде Южной христианской лидерской конференции. В этих дебатах Финкельштейн поставил вопрос ребром. Возможно, признавал он, лучший способ не допустить избыточного сосредоточения власти в руках таких сообществ заключается в том, чтобы придерживаться принципа, что они вообще не должны существовать. Но разрешая кликам действовать без формального признания и регулирования, вы поддерживаете систему, которая согласна быть управляемой из тени, пусть даже совсем чуть-чуть. Может, это и не стало бы такой уж значимой практической проблемой. Вы могли бы быть правы, полагая, что формальное признание их наличествования в конечном итоге дает им меньше свободы в целом, чем если их предоставить самим себе. Но, по большому счету, мысль об управлении из тени мне кажется отвратительной в любом случае.

В таких спорах мы наблюдаем прямое столкновение между двумя различными формами материализовавшегося утопизма: с одной стороны, антиавторитаризм, который делает акцент на творческом синтезе и импровизации и потому рассматривает свободу, прежде всего, в категориях забавы, а с другой – негласное республиканство, расценивающее свободу как способность свести все формы власти к набору четких и прозрачных правил.

На протяжении последних двухсот лет в Европе и Северной Америке – и все больше во всех остальных частях мира – в основном преобладало это последнее, бюрократизированное

представление свободы. Новые институциональные договоренности, которые регулируются строгими и предсказуемыми правилами и в итоге постепенно размываются настолько, что никто даже не знает, в чем они заключаются (вроде физических или электронных почтовых служб, с которых я начал), обычно принимаются за основы человеческой свободы, возникающие из самих технических условий действующих эффективных структур власти. Эти договоренности как будто защищают положительные элементы забавы, так или иначе нейтрализуя ее разрушительный потенциал.

Однако вновь и вновь мы получали одни и те же результаты. Вне зависимости от того, мотивировано ли это бюрократизированное понятие свободы верой в «рациональность» или страхом произвольной власти, его конечным результатом является движение к мечте о мире, где забава будет полностью ограничена – или, в лучшем случае, помещена куда-нибудь подальше от любых серьезных и последовательных человеческих начинаний, – в то время как каждая сторона жизни сводится к какой-либо организованной, упорядоченной правилами игре. Такое представление не лишено привлекательности. Кто не мечтал о мире, где все знают правила, все играют по правилам и, более того, где люди, действующие по правилам, действительно могут победить? Проблема в том, что это такая же утопическая фантазия, как и мир совершенно свободных забав. Она всегда будет химерой, которая исчезнет, стоит лишь к ней потянуться.

Такие иллюзии не всегда плохи. Уместно вспомнить, что множество великих человеческих достижений было результатом каких-либо донкихотских устремлений. Но в данном конкретном случае и в этом более широком социально-экономическом контексте, где бюрократия является ключевым инструментом, посредством которого малая часть населения извлекает богатство из всех остальных, эти иллюзии создали ситуацию, в которой стремление к свободе от произвольной власти просто приводит к еще более произвольной власти, – в результате предписания сковывают наше существование, вооруженные охранники и камеры видеонаблюдения появляются повсюду, наука и творчество душатся, и все мы вынуждены тратить все больше времени на заполнение формуляров.

Версия #1

Зверобой создал 6 февраля 2026 23:26:28

Зверобой обновил 6 февраля 2026 23:45:40